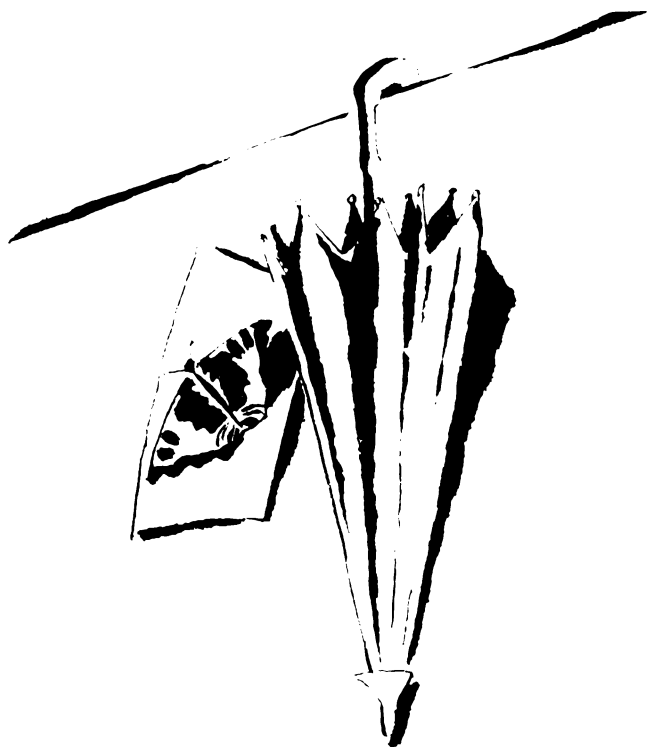


Андрей
Матвеев



Августа
по
сентябрь

**Моим бабушке и
дедушке посвящаю
эту книгу
*Астор***



Андрей Матвеев
Савгуста
по сентябрь

Рассказы и повести

**Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1988**

84P7
М 33

Рецензент
В. А. ИЛЬИН
Предисловие
Л. П. БЫКОВА
Художник
О. И. ЖУРАВЛЕВА

М $\frac{4702010200-001}{M158(03)-88}$ 31-88

ISBN 5—7529—0032—8

© Средне-Уральское
книжное издательство, 1988.

В ПОИСКАХ СОБСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ

У этой книги, уверен, будут не только сторонники: вкус большинства из нас ориентирован не на те образцы, к которым тянется автор. Но тем важнее, считаю, понять, о чем и для чего он пишет.

Проза Андрея Матвеева по смыслу и складу — лирическая. Главную роль здесь играет не событийная история, чья логика в рассказах и повестях других авторов и служит обычно постижению человеческих характеров, — а интонация. Интонация, в нервном биении которой проявляет себя сложное и серьезное чувство, как правило владеющее человеком тогда, когда он остается наедине с собой и познание действительности замкнуто на собственное «я».

Написанная от первого лица, эта проза весьма настойчиво склоняет к отождествлению того, кто ведет рассказ, с автором. Однако тут справедливее говорить не о тождестве, а о близости. Благодаря избранной А. Матвеевым исповедальной манере повествования, основной (и, по существу, единственный) герой каждого из его произведений наделяется той обостренной восприимчивостью к колебаниям собственной души и тем чувством стиля, какие присущи самому прозаику. Более того, автор и герой не только ровесники —

первый делится со вторым многими «составляющими» собственной биографии и личного душевного опыта. И все же, как бы ни были они близки друг другу, знак равенства тут не подходит. Автор отделен от своего героя уже тем, что пишет о нем и, стало быть, имеет возможность взглянуть на него более объемно и трезво, чем видит себя сам герой. Не всегда еще прозаик пользуется этой возможностью в полной мере, но «зазор» между ним и его героем все-таки несомненен.

А. Матвеев пишет о том, как остро люди нуждаются во взаимопонимании и как мучительно оно возникает (или, что еще больнее, так и не дается). Сложности тут обусловлены, помимо всего, пристрастием лирического героя и к другим, и к себе. И может быть, потому в этой прозе столь часто и столь охотно возвращаются в собственное детство, что в утреннюю пору жизни отношения личности с миром предельно доверительны. И та «ностальгия по настоящему», какой терзаемы персонажи этих рассказов и повестей, предопределена всем нам знакомым — но в разной, понятно, степени — контрастом между детски-обостренным желанием тепла и участия и открывающейся с годами суровой мозаичностью бытия. Память сердца пытается совладать с быстротекущим и невозвратимым. И хотя попытки эти выглядят порой наивно, — духовность, возникающая в процессе поисков «собственного времени», утешает и помогает жить.

Далеким от пенсионного возраста, герои этой прозы живут в последней четверти XX века. Они на себе испытали джинсовый бум, уверенное знание английского и увлечение рок-музыкой и стереозаписями — как, впрочем, и другие сопутствующ-

щие их судьбам столь же и не столь очевидные обстоятельства с безусловностью сказались на формировании их взглядов и вкусов. Не всем и не все в этих нравах и мнениях по душе, но отрицать или не замечать их как явление духовной реальности наших дней — было бы явной социальной близорукостью. Тем более странной теперь, когда стало, по-моему, неоспоримым, что личностное начало, особенно нетерпеливо «ворочающееся» в человеке в пору молодости, часто в недавние годы общественного «штиля» оставалось невостребованным, что и подталкивало многих молодых к апатии, браваде, отчаянию, а то и скепсису равнодушия. Рассказы и повести этой книги, при всей своей фрагментарности, позволяют почувствовать, сколь противоречив и тревожен внутренний мир тех, кому давно уже не по возрасту милая неуклюжесть дворовых прозвищ, но кого и после тридцати все еще не спешат звать по имени-отчеству.

Есть у этих противоречий, безусловно, и психологические предпосылки. Одной из причин подобной кризисности мировосприятия оказывается недостаточная готовность к жестким требованиям взрослой жизни. Ведь как бы и ныне порой ни хотелось, чтобы окружающие относились к нам с той же заботой и нежностью, какими одаряли нас мамы и бабушки, было бы утопией на это рассчитывать. Довзрослое существование при всех своих прелестях неизбежно эгоцентрично. «Мир для тебя» — вот его формула. Зрелость с обязательностью продолжает ее: «...и ты — для мира». Диалектика эта дается нынешним молодым — и проза А. Матвеева тому искреннее свидетельство — трудно. Но ведь нельзя же всю жизнь бегать в коротких штанишках.

Пока же герой книги явно тяготится обыденностью. Размеренные будни вызывают у него ощущение дискомфорта, неприкаянности, тоски по чему-то иному, утерянному или недостижимому. Томление это отражается и в пристрастиях героя к музыке — «самому неопределенному» из искусств, а автора — к лексике с явным оттенком неопределенности: пожалуй, нет в книге страницы, где бы отсутствовали ссылки на «что-то», «как-то», «где-то»... Человек здесь не чурается любого шанса высвобождения из инерции обыденности. Поэтому чаще всего мы застаем его в состоянии жизненной паузы — в отпуске, в субботные и воскресные дни, в час обеда. Всем занятиям герой предпочитает работу души, когда он получает возможность сосредоточиться на вопросе, который не всегда формулируется, но всегда подразумевается: кто я и зачем? Поэтому-то в будничных заботах мы застаем здесь людей, занятых делом небудничным, творческим — литераторов, художников, музыкантов, повседневные трудовые усилия которых неотделимы от миссии самопознания.

Любой из нас, убеждает проза Андрея Матвеева, непременно должен быть интересен самому себе. Ведь в таком безразличии и проступает наша ответственность за дарованную нам единоразовую жизнь.

Леонид Быков

**КТО ТЫ, ГДЕ ТЫ,
КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?**

Рассказы



ДАВНЕЕ ЛЕТО

И все было на первый взгляд так же, как раньше, как много лет назад, — те же высокие, корабельные сосны, те же узкие, засыпанные хвоей тропинки, те же рощицы осин и кленов, да и дом, казалось, был тем же — новеньким, недавно построенным, с еще необлупившейся синей краской и чисто промытыми стеклами, хотя и были они запыленными и затянутыми паутиной. Я шел потрескавшейся садовой дорожкой, солнце садилось, последние стрекозы и бабочки кружили вокруг меня, да душно пахло какими-то цветами — как ни старался, я не мог вспомнить их названия, помнилось лишь, что невзрачные, совершенно лишённые запаха днем, они становились украшением сада к вечеру, и тогда все — вся наша семья — выходили на открытую веранду, садились в плетеные соломенные кресла и молча глядели в сад, ощущая дурманящий аромат этих цветов, слушая, как кричат ночные птицы. На свет же летели бабочки, их было множество, наверное, с тех пор они и стали для меня неким символом быстротечности всего прекрасного, всего лучшего, что есть на земле. Никогда не углубляясь в ту отрасль энтомологии, которая занимается собственно чешуекрылыми, я не знал, как называется большинство из них, знал лишь, что есть капустницы, крапивницы, «павлиний глаз» и, конечно же, «мертвая голова», мрачная, таинственная, будто рожденная фантазией Эдгара По, ускользающая бабочка ночи. В те дни я спал на чердаке, и вместо электрической лампы на моем колченогом столике стояла керосиновая «летучая мышь», и когда я уже забирался под одеяло и начинал читать какую-нибудь из тех книг, что занимали тогда мое воображение — рассказы того же По или Бирса, фантасмагории Гофмана, логические шарady Конан Дойла, то частенько случалось, как что-то, что казалось огромным, вдруг пулей удара-

лось о лампу и падало на стол, а то и на кровать. Это всегда была бабочка, но никогда — бражник «мертвая голова». Я знал о его существовании, как дети знают о существовании чего-то страшного, чего-то, что сродни пропасти детских снов; знают, но никогда не думают, что сами встретятся с этим, пока, наконец, это не произойдет.

Как произошло со мной, когда брат мой, что был старше меня на год, пошел на речку и не вернулся с нее. Навсегда я запомнил взгляд его остекленелых, совершенно немутных глаз, синеватую бледность лица, зеленые нити водорослей, обвившие шею. С того лета мы и перестали ездить на дачу, с того лета и оказался сад заброшенным, а двери, ведущие с веранды в комнату, забитыми крест-накрест крепкими, дубовыми досками. И каждое лето все больше трескались пересекающие сад бетонные дорожки и все гуще и выше становилась прорастающая в трещинах трава.

Я долго рылся в бумажнике, пытаюсь найти ключ. Наконец нащупал его и с трудом открыл замок. Затем взял небольшой туристский топорик, прихваченный с собой из города, и стал отрывать доски. Гвозди ужасно взвизгивали, им вторили крики выпи с болота, а доски все не поддавались, пока я не сделал чересчур сильного рывка и чуть не оказался на спине. Дверь открылась легко, я зажег фонарик и вошел. «Летучая мышь» была на месте, в кладовке, все та же «летучая мышь», которая светила мне когда-то в чердачной комнатке. Керосин я захватил с собой, и вскоре бледные, неясные тени стали метаться по стенам.

...Когда-то в июльские вечера здесь топилась печь и пахло клубничным вареньем из больших медных тазов. Наступал август, и приходила очередь крыжовника, потом и вишни. Легкость клубники, вязкость крыжовника, терпкость вишни — было ли что лучшее в моей жизни, чем эти медные тазы с булькающим в них вареньем? Кто

знает, кто знает... А еще было кваканье лягушек, запах ночных цветов, крики птиц, шорох листвы на деревьях и главное — голоса: множество, великое множество голосов — мягких, теплых, нежных, ласковых, любимых... Было, но сплыло, и вот коптит старая «летучая мышь», и мечутся по стенам неясные тени...

Я жил эти годы, не помня, что есть этот дом, это место. Жизнь была размеренна и обычна — я никогда не претендовал на что-то большее. Обычная работа, обычная семья, обычный дом, да и круг друзей — тот тоже был обычным. Но вот уже года два, как что-то стало тяготить, давить на меня, что-то неясное, никем и никогда не сказанное. Я замкнулся, отделился от жены и детей, пару раз был на приеме у врача, но что он мог посоветовать мне, кроме как почаще бывать на свежем воздухе да поменьше курить? Так продолжалось, как я уже сказал, около двух лет. Перестав верить в медицину, я обратился к книгам, мне казалось, что великие мыслители прошлого и современности — именно те, кто может помочь мне. Я вновь стал читать рассказы Бирса и По, обратился к поэзии — самой замутненной, самой неуловимой, что создавалась когда-либо человеческим воображением, — к «озерной школе», к стихам того же По, к моим современникам — Лоуэллу и Монтале. Но ничего не изменилось, а это «что-то» все так же продолжало давить, теснить душу, и временами отчаяние переполняло меня и уже просто не хотелось жить. В один-то из таких дней, в день тоски и неясной ностальгии, я полез в ящик старого комода и достал альбом с семейными фотографиями. Странно, но на большинстве из них был заснят наш сад, именно он один — без нас, без кого-либо из всей нашей семьи. Домик, деревья, цветы... И вдруг мне захотелось вновь побывать в нем, ведь он все еще принадлежал нам — мне и моей сестре, но сестра жила далеко, а сад был рядом. И, с трудом найдя ключ, вооружившись топориком и фонарем, я в ближайшие же выходные отправился сюда.

Да, сюда, и вот сейчас вновь лежу на кровати в моей чердачной комнатке, и копит, копит потолок фонарь «летучая мышь». О стекло бьются бабочки, кажется, что именно сегодня их несметное множество, будто невидимый стрелок из какого-то странного, волшебного ружья все пускает и пускает заряды чешуекрылой дробин. Я листаю старые журналы, старые, более чем пятнадцатилетней давности. «Какая же у меня память,— думаю я,— как же я помню все эти смешные и грустные, совсем в духе того времени, рассказы, помню картинки и подписи к ним, помню, все я, оказывается, помню — мать и отца, бабушку и дедушку, своего брата, всех, кто стал теньями, что отбрасывает сейчас на стены лампа «летучая мышь».

Слезы душат меня: я знаю, что человек смертен, что это и мой удел, удел моей жены и моих детей, но слезы душат меня — ведь одного, хотя бы одного я мог уберечь от этого, пусть на какое-то время, мог, но не сделал, не пошел по тропинке, не спустился к реке, и вот, кто знает, но вот, может, именно поэтому я сейчас здесь один, лишь бабочки стучат и стучат об окно...

...Я спустился к реке утром. В руке нес удилище и сумку с наживкой. Клев был хороший, здесь всегда был хороший клев, и вскоре в котелке булькала уха. Я сидел и смотрел на костровой дымок, солнце уже встало, но с реки тянуло холодком, и я ежился, пытаюсь согреться. «Спалить,— думал я,— спалить и забыть все это к чертовой матери, ведь я же просто болен, если вот так — отчетливо, будто все случилось лишь вчера — помню все это, спалить...» Но спалить-то ничего было нельзя, это-то я хорошо понимал. Жечь надо было в то давнее, ушедшее, летальное лето.

Дом и участок я привел в порядок за месяц. Потом перевез сюда семью, и теперь каждое утро, когда я еду в город на работу, сыновья провожают меня до дороги на станцию и дают целую кучу всяких заказов — от кон-

фет до настоящего, большого кукольного театра. А в выходные, когда я вожусь на участке, приводя в порядок грядки с клубникой — особенно мне нравится срезать усы, хотя потом и невыносимо болит спина, — они носятся вокруг с яркими сачками — желтым и красным — и ловят бабочек. Как ловили их когда-то и мы с братом, два давних мальчика с двумя марлевыми сачками. Единственное же, чего я боюсь, — так это того, что как-нибудь один из них соберется на речку, а другой не захочет, и кто знает, когда и кому вновь придется расколачивать двери этого дома...

МАЛЬЧИКИ НА КАНАЛЕ

День упругий и звенящий, и все прекрасно. Я сижу на скамейке на набережной и смотрю, как мальчишки блеснят шук в канале. Не ловля — игра, панацея для детской души, попытка отсрочить приближающуюся тоску сентября. Лески струятся по воздуху, накрывают воду блесной, как сачком, струи фонтанов радугой разлетаются на солнце, зрение изменяет мне, будто глаза вновь начинают видеть так, как много лет назад, когда сам носил еще потертые джинсы, и кеды, и мятую клетчатую ковбойку из фланели...

У меня работа, целый день сплошной круговерти. Легко ли это — быть фотографом-профессионалом, мальчиком с сединой на висках и камерой «Никон». Щелк-щелк, щелк-щелк, ваш портрет, мадам. И не просто портрет, а истинное произведение искусства, такого никогда не получите вы в штатном фотоателе, там ведь что — посадят на табурет, зажмут голову в тиски света, и — вылети, птичка. Мои птички иные, снимаю ведь не просто для куска хлеба, не для того, чтобы хватило на коньяк,

а чтобы запечатлеть душу, даже скорее нутро, чем душу. Но иногда нахлынет тоска, захочется послать все к чертовой матери, забросить кофр с аппаратом куда подальше и удрать, вот так, в самый разгар дня, сюда, на канал, к прохладе воды, к лучам последнего августовского солнца, хотя знаю, что впадаю в сентиментальность, но так вдруг иногда хочется стать добрым, размягчиться, растаять, глядеть в воду, и пусть бегают где-то в глубине черепной коробки картинки памяти, ведь сам был таким, сам был мальчиком лета с удочкой и мешочком в руках.

Вот на этом самом месте мы сидели когда-то в последний раз с друзьями. День был таким же — упругим и звенящим днем конца августа, и все было прекрасно. Никто из нас не знал, что с нами будет, кем мы станем. И руки мои не держали тогда еще «Никон» и не были сбиты в драках, если не считать драками наши детские свалки-потасовки; многого мы не знали тогда, тем далеким августом...

Но жизнь всегда берет свое, и, может, в этом-то и есть ее величайшая мудрость. Ведь человек рождается неподготовленным ко всему, что будет; непосредственность и наивность — вот что тогда главное в нем. И вдруг все это уходит, бах — и нету, как стрекозы, исчезающие в один прекрасный полдень. Грустно становится от всего этого, грустно и странно, может, поэтому я так люблю чудаков, люблю бродить по городу, когда почти все нормальные люди еще спят, тем более что мне это на руку, ведь моя профессия — ходить по улицам, на отстрел кадров...

Вот ранний курильщик сигары, облокотившийся на каменный парапет старого мостика часов этак в шесть утра. В странной серой хламиде до пят, в старом соломенном каноте, со здоровущей кубинской сигарой во рту. Вот девочка с неестественным блеском в глазах: рана, удар в сердце? Мое дело их снять, оставить, так сказать, на память поколениям, так же как и этого мальчика с итальянским профилем, играющего перочинным ножи-

ком на берегу этого самого канала... Детей снимать вообще интереснее, чем взрослых, у них все — в глазах, пока нет пелены сытости и довольства или уж такого отчаяния, от которого нет спасения — лишь забвение, долгое, до конца дней. Но сейчас я не снимаю, кофр стоит у ног, а я сижу и смотрю на канал, на то, как мальчишки ловят щук. Я никогда не думал, что у нас в канале ловятся щуки, но теперь знаю — когда открывают шлюзы и воду из городского пруда спускают в канал, чтобы затем она уже спокойно вошла в русло реки, то тут самая и ловля. Жаль, что мы не знали этого в детстве, впрочем, тогда канал еще не был таким, да и все вокруг было по-другому. Не было этих высотных зданий, не было и самого сквера. Но мы были, и нам было хорошо, как хорошо этим ребятам, мокрым, довольным, задорно смеющимся.

Если бы я мог, то сделал бы альбом о детях и стариках, только о детях и стариках, то есть о мудрости и умении понимать и ценить жизнь.

От начала и до конца, с первого вздоха и до последнего. Но кому это надо, ведь так проще — не задумываться над тем, как живешь и чем; лучше просто — оставляя свое изображение на негативе каждого из прожитых дней. Да и я точно такой же, только вот напало сейчас что-то на душу: не могу без боли смотреть на этих мальчиков лета, видеть эту воду и струи фонтанов, перекрестное падение лесок на гладь канала. Не могу слышать смех, разговоры, детские перебранки, этот милый, смешной жаргон. Но ведь встану со скамейки, снова надену кофр на плечо и потащусь по улицам — работать, зарабатывать деньги. И наши дороги разойдутся, я забуду, что это дети, что это великолепные, прекрасные мальчики лета. Это модели, точно такие же, как и те, что приходят ко мне в мастерскую. Сюда, прошу вас, потерпите немного, здесь довольно прохладно, но зато гарантирую — так вас не снимет никто. Сюда, на этот фон, мы чудесно прорисуем светом вашу фигуру...

Неужели это нельзя изменить, неужели так и будет всегда, каждый день, все триста шестьдесят пять дней в году, все те оставшиеся годы, что отведены мне кем-то там, далеко-далеко? Зачем же я тогда рожден, зачем наделен именем и умением мыслить? «Стоп,— обрываю я себя,— стоп. Не годится так впадать в мерихлюндию, что-то не клеится сейчас, что-то тошно, но ведь молод еще, но ведь есть чудесная работа, да в конце концов можно влюбиться, ослепнуть, потерять голову на какой-то миг, и жизнь будет идти быстро-быстро, и каждая минута будет ожидаться с величайшим наслаждением, и все будет спориться, и думать будет легко, необычайно весело и легко, как в Новый год... Можно, все это можно...»

— Дяденька, сфотографируйте нас! — Они окружают меня, полуголые, загорелые, мокрые от воды. Что ж, мне не трудно, я не какой-нибудь шабашник, да и потом — еще один маленький скол памяти останется в моем хранилище. И вглядываясь в эти мордашки, я увижу в них себя, своих друзей.

— Сейчас, ребята,— говорю я,— сейчас, встаньте напротив меня, вот так, стойте и смотрите, нет, проще, ну представь, что это не аппарат, а щука.

— Большая?

— Большая, ты таких еще не видел, смотри, как она шевелит плавниками...

Я нажимаю на кнопку затвора, передергиваю пленку, делаю еще кадр, еще. Лица ребят меняются, как меняется солнце.

— Спасибо! — кричат они мне, вновь устремляясь к каналу, к своим легким удилищам с дешевенькими катушками и к своей надежде, хоть на этот-то раз, но не обойдет она блесну стороной.

Я же вновь сажусь на скамейку, смотрю им вслед и вдруг чувствую, как что-то до боли сжимает сердце: вижу, вижу мальчиков лета...

ДРУГ

Мы провожали друга. Он никого не оповестил о своем отъезде, но все как-то догадались сами, и вот, пыльным августовским утром, когда город изнывал от жары — поздней жары позднего августовского лета, — потянулись друзья со всех концов города к дому, где была его мастерская.

Да, он был художником — об этом я еще не сказал.

Мастерские всегда бывают под небом. Давным-давно, еще в детстве, я никак не мог понять почему. Ведь это так неудобно, ведь так высоко надо взбираться по крутым ступенькам и нельзя держаться за мамину руку, лишь маленькую возможность предоставляла мне она — ухватиться за ее подбадривание и вверх, вверх по лестнице, к двери без номера, за которой — боже, как давно это было — странный человек, лучший мой друг тогда, гномик, лесовичок, мудрый и озорной, ставящий чайник на плитку и вытирающий тряпкой руки от краски... Сейчас-то я понимаю, почему мастерские так высоко, почти под небом, но не буду подводить под это философскую платформу, просто скажу — птицы рядом, и, может, где-то среди них кружит, кружит чайка по имени Джонатан Ливингстон...

Мне тоже никто не сообщил о том, что друг уезжает. Но с вечера я уже начал томиться, что-то нависло надо мной, стало побаливать сердце, клубилась за окном жара, и ночь казалась последней, что наступает в череде отведенных ночей. Я сидел в кабинете, курил, пил чай и пытался заставить себя работать. Но какой-то бред срывался на клавиши, тягостные ассоциации переполнили мозг. И, чтобы отвлечься, я пересел в кресло и стал смотреть на его картину, подаренную когда-то моей маме, когда-то, когда она жила еще рядом со мной.

Картина была проста. Женское лицо, великолепно,

бархатно прорисованное, утонченно-порочное, что и отличало его от лиц Возрождения. Чувственное, нимфоманистое, не подарок и не призыв, а оклик. В правом же, верхнем углу холста, будто оторвавшись от поверхности — ей-богу, не вру, можете проверить, ведь до сих пор картина эта есть у меня — порхали бабочки. «Монархи» тропиков с лазурно-золотистыми крылышками, лазурно-золотистыми, бархатно-алыми, солнечными крылышками, чуть трепещущими, чтобы удержаться в порывах теплого ветра.

Я сидел, смотрел на картину и вдруг подумал, что давно уже не видел этого человека и что как будет хорошо, если завтра же, с самого утра, я поеду к нему. «Да, да, — подумал я, — завтра, с самого утра!» И кошмары кончились, сон слетел на меня, легкий, безоблачный сон, и всю ночь кружились надо мною бабочки — совки, капустницы, какие-то незнакомые мотыльки и огромные «монархи тропиков», гоня своими крыльями ветра Бразилии там или Паравая...

С утра я и сделал так, как задумал. Мастерская встретила меня распахнутыми дверями, в ней было много народа, и всех я знал. Здесь не было случайных людей, и не потому, что сам хозяин был суров, нет. Он, разобравшийся в законах вечности и во всей глубине падения человека, понимавший, что красота иногда все же может быть панацеей, хотя бы для самого себя, глубоко верующий в то, что кисть его, быть может, кого-нибудь да спасет от тоски, безысходности, скудости существования, в общем, он — человек, единственный среди нас всех поднявшийся до вершин прозрений, — был слишком добр, чтобы не пустить кого-нибудь через порог. Просто случайные люди быстро понимали, что не к месту они здесь, и исчезали. Оставались, конечно, единичные исключения, репы, подвизгивающая мелюзга, но сегодня никого из них не было, и солнечный свет падал на свернутые, запакованные, готовые к исчезновению холсты.

Я был намного младше моего друга, был самым младшим здесь и поэтому, поприветовавшись, уловив его ободрающий взгляд, забился в угол, сел на табурет и стал молча курить, вспоминая...

А вспоминал я те давние времена, когда все мы были вместе, когда не надо было провожать друзей, да и не было этого понятия — проводы, а если и возникало оно иногда — как неясная тень на окне, — то просто не верилось, что так может быть, что так есть... Я вспоминал дорогу с пригородной станции, ведущую к озеру, камыш, растущий по краям, моего друга, что шел рядом со мной, — сколько ему тогда было? Что мне до того, что он художник, что я — даже страшно подумать — когда-то пойму, что надо гордиться этой давней, детской дружбой... Мне было просто хорошо, я верил ему, как верю и сейчас, но ведь вера ребенка нечто совершенно иное. А потом было озеро, были три дня в палатке, и мы купались, ловили рыбу, загорали, он подсаживал меня к себе на плечи, и мы носились по лесу — кентавр, возрожденный кистью на одном из его поздних полотен. С тех пор я и стал называть его своим другом...

Народ же прибывал и прибывал, все уже не вмещались в мастерскую, да и площадка перед дверью быстро заполнилась, люди потянулись цепочкой вниз и шумели, кричали, будто не в забвение провожали, а на Олимп. Друг же улыбался, говорил светским, не свойственным ему тоном, а холсты молча и печально стояли у стен, лишённые тепла и крови. Наконец поток народа схлынул, остались лишь близкие. Солнечный свет все так же заливал мастерскую, мы встали в самом центре, а друга посадили в старое резное кресло перед нами. Наш общий знакомый — хороший мастер, воистину прекрасный мастер — установил на треноге фотоаппарат. А потом все присели — кто куда, — и наступила минута прощания, хотя никто ее не хотел.

Мы помолчали.

— Ну что, ребята, пора? — оборвал тишину наш друг. И все встали, взяли чемоданы, разобрали свертки с запакрованными холстами и потянулись по лестнице вниз. Там уже ожидало такси-«пикапчик», такое веселое, желтенькое, совсем еще новенькое. Мы погрузили вещи, обнялись с другом, и он уехал.

Траурная музыка неслась ему вслед по улице. Откуда она взялась, что это еще за наваждение? А может, от жары начались галлюцинации? Видимо, не один я задавал себе эти вопросы, потому что никто не захотел идти домой. Вывернули карманы, собрали всю наличность, пошли в ближайшее заведение. Мы не были счастливы. Мы были не на поминках, но мы не были счастливы, ведь он мог быть с нами сейчас, но в этот момент уже кончалась посадка, и вскоре самолет должен был вырулить на взлетную полосу. Мне хотелось плакать, да мне и до сих пор хочется плакать, когда я вижу его картину, ту, единственную, что есть у меня. Где бабочки, будто оторванные от холста, реют в странном, магическом приближении к нему. Огромные, ярчайшие, тропические бабочки утраты...

КТО ТЫ, ГДЕ ТЫ, КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?

Б. Гребенщикову

Именно тогда, именно в тот самый день родители решили, что ум мой помрачился окончательно, и вместо обещанных на лето подарков (ну там спиннинг, или велосипед, или поездка на каникулы к бабушке) я получил, и уже на всю жизнь, лишь одно право — дарить впоследствии подарки сам себе. Но это уже другая история, об ином времени, об ином мне, а тогда...

А тогда кончался май, веселый, какой-то бесшабашно-усталый от этого веселья, но все равно май — с ранней зеленью, с безумием первой жары, с просыпающимся ощущением собственного «я», с добрыми лицами прохожих и — о, наконец-то! — с возможностью выбежать на улицу просто в майке, джинсах и кедах, и надолго (до осени, до зимы) запрятать в стенную кладовку опостылевшие за зиму пальто и шубы. Но все это из области приятных эмоций, а речь-то идет совсем о другом...

Да, да, именно тогда, именно в тот самый день родители решили, что ум мой помрачился окончательно. Говорят, что обычно это бывает из-за слишком большой любви к женщинам и к насекомым, но в то время ни тем, ни другим я еще не страдал. Ходил себе в школу, играл в чикку и трясучку, в футбол и баскет, сидел за уроками, держа в ящичке стола извечный томик фантастики, испытывал первые вожделения — кто из нас не прошел через все это? Зря говорят, что дорог много, она одна, одна для всех, одно у нее начало, один конец, и даже пыль на обочинах — и та неизменна...

Но воздух был майским, недаром я так акцентирую на этом внимание. И в этом майском воздухе вдруг явилась мне фигура, мистическая, ненатуральная, что-то среднее между безумным пророком и обычным уличным дурачком, знаете, таким скособоченным, со слюной, капающей с подбородка. Да, и забыл я сказать одно — было все это в городе у моря: шум прибоя, шум машин, несущихся по скоростным шоссе, прощальные гудки теплоходов на рейде, запах абсолютной свободы, витающей в воздухе... И вот, выйдя из школы, совсем уже было собравшись на пляж, я и увидел этого парня, длинноволосого, в джинсах и свитере... И тут (ну как, разве лишь озарением назвать все это?) я вдруг впервые в жизни почувствовал беспредельное одиночество, да это бы еще ладно, но — но что дальше, что будет дальше со мной, со всеми, со всем миром?.. Вот что вдруг заставило меня остановиться, пома-

хоть ребятам рукой и просто встать и смотреть на этого человека...

...Надо ли говорить, что двое сумасшедших (повторюсь, но именно в тот день родители решили, что ум мой помрачился окончательно, хотя начального диагноза мне никто и никогда не ставил) всегда найдут общий язык, как нашли его и мы, пусть и был он старше где-то на десять с гаком, но... Но ведь вся жизнь состоит из таких вот «но», и кто знает, что и когда еще будет...

...А может, дело было в том, что мне совершенно не хотелось идти домой, не хотелось выслушивать привычные слова и фразы, составленные из этих фраз предложения, где все правильно и классично по форме, но вот суть-то меня совершенно не удовлетворяла. Май был, вновь повторюсь, но май был, и витал в воздухе дух весенних перемен. И хотелось послать все к черту, бежать, бежать как можно дальше. Тяга, присущая лишь юности? Дудки! Простое, естественное состояние любого человека, если, конечно, он хоть капельку, да понимает, что он — человек.

Итак — прочь, прочь от того, чем мне — лишь сейчас я это понял — предстояло стать, как предстоит стать и всем тем, кто идет за нами... А звали его, этого парня, ну, скажем, Юркой... Иногда люди понимают друг друга просто по глазам, по прикосновению ладони к ладони, у нас же это произошло иначе — просто вместе, плечом к плечу, по улице, ведущей куда-то мимо хитросплетенных изгибов портового забора, из-за которого мы частенько таскали бананы, ананасы и другие экзотические штуки...

И шел от улицы проулочек, а за ним еще один, а за ним еще, и стояла там маленькая хибарка, довольно странная здесь, если вспомнить, что в каких-то пятнадцати — двадцати минутах ходьбы красивейшие улицы, площади и дома, набережная и залив. Конечно, молчали мы не всю дорогу, надо было хотя бы познакомиться: тебя как зовут, старик?

И вновь акцентирую ваше внимание: это был май, тот май, когда пришел конец театру «Одеон», и тот май, через два года после которого прогрехотали выстрелы в Кенте. Впрочем, кого сейчас это касается?

Так как тебя все же зовут, старик?

Потом, гораздо позже, у меня появится друг, которого будут звать Годар. Я его придумал, как придумываю и всех своих героев, но разве это грех? Грех в другом, ведь именно в тот день (пусть кто хочет, тот верит) я действительно сошел с ума, но ведь это мой грех, так оставим его на моей же совести...

...А из распахнутого сейчас окна видно, как по улице все так же — уже годы и годы — идут мальчики и девочки в джинсах, только вот не в столь потертых. Все хорошо, но дорога, она-то ведь одна...

Кем хотели, чтобы я стал, кем вы хотите видеть своих детей?

И кем бы они хотели видеть вас?

И стоит ли ворошить все это?

...А мы сидели в его хибаре и говорили о том, что пусть дорога-то одна, но ведь есть еще тропинки, и кто знает, куда и кого они могут завести? И слушали музыку, и мне совсем не хотелось домой...

...Прочь, бежать, пусть даже не бежать, идти...

Родители же собирались в этот вечер ехать вместе со мной на дачу. На взморье. Дача на взморье, ну стоило ли пропускать такое?

А здесь, в хибаре, метались по стенам тени керосиновой лампы, освещая огромный, небрежно приклеенный клейкой лентой плакат: два парня в потертых джинсах и кедах... «Если тяжело стало вдруг, слеза пришла волной — утри слезу, я здесь, с тобой. Если страх вокруг и не сыскать друзей, словно мост через пропасть лягу под ногой твоей, словно мост через пропасть страха под ногой твоей. Если жизнь страшна и бездомна жизнь, если горек мрак ночной, уйми печаль, я здесь, с тобой...» Что-

бы я знал тогда, как их зовут, этих двух парней в джинсах и кедах...

...Поль Саймон и Арт Гарфункел...

«...Если жизнь страшна и бездомна жизнь, если горек мрак ночной, уйми печаль, я здесь, с тобой...»

Ночным портовым городом возвращался я домой и впервые в жизни никого и ничего не боялся.

А потом Юрка стал заходить к нам домой, и мои вежливые родители старались как можно реже открывать ему дверь. Ведь мне надо было готовиться к экзаменам, хотя их я все равно завалил. Завалил и почувствовал себя самым счастливым человеком на свете: теперь, готовясь к осенней переэкзаменовке, я мог днями валяться на пляже, наблюдая за приливом и отливом, ловя морских звезд и ежей, слушая крики чаек и вдыхая запах гниющих на берегу водорослей. Дома же стены моей комнаты украсили плакаты и фотографии, а на первые, халтурно заработанные в порту деньги я купил дешевый магнитофон, и первой же песенкой, зазвучавшей в нашем доме, была та самая, где «если боль вокруг — из всех щелей, словно мост через пропасть лягу под ногой твоей, словно мост через пропасть боли под ногой твоей...».

Только вот в чем она, эта, до сих пор не отпускающая меня, боль? Может, в том, что двери открываются не часто, потом смолкают дверные звонки и странно появившиеся фигуры так же странно и таинственно растворяются там, откуда и появились: во времени и пространстве?

Прочь, прочь, к сладкому, соленому запаху моря, а хибарки — их сносят мощные бульдозеры, и растут высотные, белые, роскошные здания, с лифтами и соляриями, в других местах, в других городах. Но это уже новая история, об ином времени, ином мне...

Что же касается Юрки, то лишь очередной май и добрая, старая музыка заставили меня сесть за машинку и написать этот, довольно странный рассказ, в котором —

поверьте — совсем не так много правды, как это может показаться, ведь есть ли что более скучное, чем впадать в автобиографичность? Но прошу, запомните: «если жизнь страшна и бездомна жизнь, если горек мрак ночной, уйми печаль, я здесь, с тобой...»

Только вот кто ты, где ты, как тебя зовут?

ПАРЕНЬ ИЗ МУЗКОМАНДЫ

...Запах... Временами резкий, временами просто отвратительный запах гниющей осенней листвы, хотя как, благодаря какому потоку сознания возникает он сейчас, в мае, когда со дня на день земля покроется ковром еще только что проросшей травы: нагая, первая весенняя поросль и этот запах, что идет оттуда, из конца сентября, когда сжигают листья и стелется дым по городу...

Впрочем, и в мае жгут прошлогодние листья, в конце апреля — начале мая, и поднимается дым в небо, смешивается с облаками, что гонятся ветром на город. И целых три дня между школой и школой, три дня вынужденного и так долго ожидаемого безделья, без каникул, без привычных выходных — воскресенье, молчат звонки, пусты классы и коридоры — просто три законных дня безделья посреди рабочей недели...

Отец, уезжая, сказал: «Будь умницей, парень!» — и захлопнулась за ним дверь, и настороженно замерла квартира, а я рухнул на тахту, включил магнитофон и стал слушать музыку.

В тот год я чувствовал себя странно, как-то получилось, что новый класс, куда я перешел, не принял меня (до сих пор не могу понять почему); нет, меня не прозвали изгоем, но практически сделали им, и даже девушки у меня не было, лишь дом и улица — вот что прина-

длежало исключительно мне, и я постоянно пускался в странствия по району, пытаюсь постичь что-то такое, что для самого себя мог сравнить разве с открытиями доктора Ливингстона, книгами которого зачитывался уже в столь давнем детстве. Но в будни все проще, ведь в обычные дни распорядок жизни правилен и даже путешествия мои и те поддавались определенному расписанию, наподобие все тех же школьных звонков. А выходные, особенно вот такие, на целых три дня, неподвластны никаким регламентам, и эти грядущие часы еще более омрачали мое и без того нерадостное настроение. Что делать, чем заняться до того, как вновь вернется в город отец и квартира задышит, заживет, услышит человеческие голоса и телефонные звонки?

Но ничего лучшего, чем надеть куртку и выбраться на предпраздничные улицы, я не придумал и бродил так весь день, почти до вечера. Проголодавшись, зашел в пельменную, а затем вновь пустился в странствия. На улицах же кучками собирался народ, через пару часов небо должно было расцвести вспышками салюта. Группы молодежи готовились к ночному факельному шествию, а моя фигурка на этих улицах, среди этих людей становилась все затеряней и затеряней, между нами не возникало общего тока крови, между нами не возникало вообще ничего, будто кто-то оградил меня подобием силового поля и так и не выпустил в мир, в этот окружающий хаос голосов и предпраздничных звуков.

В то время я еще не курил, но тут решил нарушить это свое табу, хотя даже здесь не обошлось без того, чтобы я не попал в дурацкое положение: вместо «закурить» попросил «прикурить», и какой-то мужчина долго смеялся, пока я сбивчиво объяснял ему, чего хочу. Но, получив наконец сигарету, устроившись на каменном парапете, что ограждает городской пруд, подтянув колени к подбородку и затягиваясь непривычно крепким табаком, я вдруг ощутил какое-то сродство между мною и всем, что

вокруг — этими улицами, уже забитыми гуляющими в ожидании салюта толпами, этими тополями с чуть распутившейся листвой, этими звуками праздничных маршей, гремящими из тут и там расставленных динамиков. Мне стало спокойней и проще, я глядел на вечерние воды пруда с отражающимися в них огнями окон и реклам, видел отблески пробегающей где-то вверху световой газеты, вода манила к себе, но было еще слишком холодно для купания, да и вообще — дневное тепло внезапно сменилось промозглостью майского вечера, и я, зябко поевшись, встал с парапета и побрел туда, где собирались основные массы молодежи, где уже вспыхивали факелы и перезванивались гитары.

— Ба! — вдруг услышал я оклик. — Да ведь это Пашка! Пашка, привет! Иди к нам!

Это была группа ребят — трое девчонок и двое парней — из нашего класса. Близких отношений между нами не было, но эти, по крайней мере, не столь рьяно открепщивались от меня, как остальные, за что я и был им благодарен.

— Ты чего один?

Вопрос, повисший в воздухе, гнилостный запах листвы, рожденный осенью, но перешедший в весну, веселые лица ребят, смешливые — девчонок, что им надо от меня, чего они хотят?

— Да брось ты, пошли с нами, будет весело, будет так весело, представляешь — ночью и с факелами, через весь город...

— Да нет, ребята, — говорю, — что-то неохота, лучше домой пойду, тем более что один я там сегодня...

Фраза-ключ, начало того, что последует за всем этим.

Мы пошли на факельное шествие, я как бы забыл самого себя, скакал и веселился со всеми вместе, а потом мы очутились у меня дома, причем компания разрослась, появился еще какой-то парень, еще какие-то девицы, опустошенный холодильник, с кухни пахнет варящимся

глинтвейном, которого до того раза я и не пробовал. Вот разбилась одна тарелка, вот другая, хлопнула об пол рюмка, туман затянул мне голову, все вокруг стало радостным и прекрасным, мои одинокие прогулки, где вы, будете ли еще? А потом я услышал звук трубы, прекрасный, чистый, густой звук.

— Это Севка,— сказала Ирина,— он пока служит в музроте, до дембеля лажа ему осталась, всего полгода, но он бог, чуешь?

И я почувал. Мелодии, которые он играл, были мне незнакомы. Лишь позже я узнал, что это были «Сан-Луи блюз» и «Саммэтайм», «Больница святого Джемса» и «Караван», классика джаза, исполняемая на простой поршневой трубе парнем из музкоманды. А потом труба замолчала, глинтвейн же все варился и варился — красное вино, сахар, гвоздика, корица, изюм, и вот уже мы с Иринкой в спальне отца, а за окном продолжается фантасмагория праздничной ночи, хотя давно догорели факелы. В стекла же бьет ветер и обещает, что с утра мною вновь овладеют отчаяние и тоска...

Но это произошло лишь после того как — выставив гостей и убрав квартиру — я опять остался один, сел у окна, уже уверенно закурил сигарету и смотрел, как дворники уничтожают остаткй празднества — ошметки шаров и бумажных флажков, пустые пачки из-под сигарет и многое, многое другое, что несут с собой большие массы людей. Вечером же, когда я вновь вышел побродить по улицам, то по неясной самому себе причине оказался около того самого плаца, где проводила вечернюю репетицию Севкина музкоманда. И тут я услышал его вновь: когда отгремела барабанная дробь, он, затянутый в парадную форму (к чему готовились они, к какому очередному смотру?), вышел из строя на два шага вперед и заиграл тревожный, готовящий к атаке сигнал. Ветер гнал облака и вместе с ними гнал музыку. Я сел верхом на забор, свесил ноги и смотрел на вечерний, покрытый тенью заходящего солнца

плац, стриженные ряды музыкантов, на Севку, труба которого гнала и музыку, и облака, и всех нас куда-то вперед. Я больше не был одинок, нет, дело не в Ирине, ни разу больше мы с ней не были вместе, но ведь плац музкоманды был рядом, и еще целых полгода я слушал Севкину трубу. Побудка, завтрак, сигнал на занятия, на обед, на ужин, и — наконец! — отбой. И, слушая эти казарменные мелодии, я вспоминал те, что он играл в ту весеннюю ночь, они как-то соединились, слились во мне, и даже сейчас, когда тень его трубы давно уже растворилась в мире, я больше всего люблю этот чистый, высокий, тревожный звук, особенно в такие дни, когда тоска вновь, как и тогда, много лет назад, овладевает мной. Я иду на уже потрескавшийся асфальт плаца — часть давно перевели в другое место, забор снесли — и вижу все то, что было тогда, вижу и слышу, и мне жаль лишь одного: что сам я лишен слуха и никогда не смогу играть на трубе. Ведь мы бы составили прекрасный дуэт, и, кто знает, но может быть, мир стал бы лучше, если бы звуки наших труб вновь потревожили его своим звучанием.

Но все это так, досужие домыслы, не больше. У каждого из нас свой путь, но многое я бы дал за то, чтобы еще раз услышать пронзительно-высокий звук трубы парня из музкоманды. Звук, который научил меня не только любить, но и ненавидеть, но вот почему, отчего? Этого объяснить, пожалуй, я так и не смогу.

СЛЫШАТЬ... БЕЖАТЬ... ВИДЕТЬ...

Не знаю, отчего они прозвали меня именно так. Да и кто первым — мать или отец — тоже не припомню, хотя это и не важно, а важно лишь, что у одного меня в семье

прозвище есть. Мало им того, что я действительно не такой, как все, так зачем еще прозвище давать, да еще чудное такое — Лес, не озеро, не болото, а именно Лес, долго думать надо было, чтобы такое прозвище дать... Правда, так они меня прозвали еще до того, как это случилось, и сейчас-то ко мне лишь по имени обращаются, но когда между собою говорят, то называют по-прежнему Лесом, будто имя — это так, а на самом деле имя мне не имя, а прозвище. Раньше, еще до того, как это случилось, я о таких вещах и не думал, не до того мне было, им бы лучше меня Непоседой прозвать, точнее было бы, ведь ни минуты дома не сидел, а вот как это случилось, так и стал я о всяких таких вещах задумываться, ведь больше-то мне делать нечего, лежи целыми днями и думай, надоест — книжку можно почитать, но это мне меньше нравится, гораздо меньше... Но это все сейчас, а первое время как это случилось, правда, мне об этом лишь рассказывают, сам-то я ничего не помню, я не то что читать, я и писать-то лишь под себя мог, да и то с чьей-нибудь помощью...

А случилось все это вот как: лето было, самый уже конец его, уже листья опадать стали, а те, что были, стали цвета менять, но все равно тепло было, жара такая, какой ни в июне, ни в июле не выдалось. Я как с утра из дому ушел, так меня и видели, мать, правда, крикнула, чтобы к обеду вернулся, но мы в этот день на дальнем поле — есть у нас такое, две остановки трамваем ехать — в футбол играли, так что обедал я квасом и двумя пирожками с повидлом (до сих пор не могу понять, отчего все так хорошо запомнил — даже трамвай тот, на котором ехал, красная краска местами облезла, а сиденья задние, те, которых сразу три вместе, прорванные были, и из дырок грязно-желтый поролон торчал, а водитель остановки объявлял каким-то ленивым голосом, будто не выспался он, что ли, а может, жара так на него действовала — есть ли что хуже, чем жара в конце лета, да еще в городе, вот

как сейчас, когда всю квартиру будто ватой влажной обложили и некому пот с меня вытереть, никого дома, хоть закричись), а после обеда мы снова играть начали и лишь в сумерках опомнились — уже фонари зажглись, в ногах звон, в теле звон, всего качает, майку хоть выжимай, но хорошо, и игра-то была хорошая, я в защите играл, но все равно два мяча умудрился заколошматить, да так красиво, один головой, а другой сбоку, как бы с навеса, бывает, что лежу когда долго, так мячи эти вижу — как опускается один прямо с неба, а я его и подлавливаю тут на носок, разворачиваюсь и посылаю в сетку, и звон, звон, в ногах звон, в теле звон, и сумерки, и фонари зажглись уже, и все мы — потные, разгоряченные — бежим к остановке наперегонки, будто за день не набегались, тут выскакиваю на мостовую и... А дальше все темным-темно, да надолго, почти на полгода, ведь какой это свет, когда ты весь в гипсе — и руки, и ноги, и голова, и шея, все-все, вот только звон по-прежнему, как начался, так и продолжался, да и до сих пор иногда начинается снова, но я уже научился себя контролировать, так, по-моему, это называется, сразу глаза закрываю и стараюсь небо представить: летнее, ласковое, голубое такое небо и как голуби в нем летают, а может, не голуби, может, чайки, хотя их-то я никогда не видел, лишь по телевизору, но это не считается, пусть он и стоит напротив кровати, но не люблю я его, все в нем какое-то не такое, не всамделишное, пусть и гораздо ярче. Так что Непоседой они меня, наверное, не зря не прозвали, какой я сейчас Непоседа, но и какой Лес, ведь в лесу-то настоящем я с тех самых пор и не был, если меня сейчас как-то прозывать, то разве что Слухачом, ведь чему-чему, а этому я здорово научился, как просыпаюсь, так и начинаю слушать: вот шаги за стеной, вот кто-то в туалет прошел, вот воду за собой спустил, вот на кухню, легкие шаги — мама, еще легче — сестренка, медленные, тяжелые — отец, вот зашкворчало что-то на кухне, завтрак готовят, значит, скоро ко мне

зайдут, сначала судно — так уж положено, потом завтрак принесут, да торжественно так, на подносе, с белой салфеткой, как никогда до того, да и вообще как это случилось, так я на особом положении, все со мной носятся и по прозвищу называть перестали, хотя сами его и придумали. И что только ни делают, книжки постоянно покупают, а мне книжки эти читать одна мұка, как представив себе все эти приключения — море, корабли под парусами, ветер в лицо, соленые брызги, крики «на бордаж», шум, гам, выстрелы, «повесить на рее!» — «есть повесить на рее, сэр!», — тошно сразу делается, ведь хоть бы побывал на море, так еще можно было бы про него вспомнить, как, к примеру, когда книжки про космос читаю, ведь звезды-то видел, когда все спать ложатся, то долго еще лежу и вспоминаю, какие они, звезды. Но моря-то никогда не видел, и книжки эти про пиратов и про мальчиков на необитаемых островах для меня — сплошная мұка, уж лучше просто слушать, слушать днем, слушать вечером, слушать ночью, особенно ночью, когда шум машин с улицы не мешает, звуки все отчетливо так раздаются... Но сейчас-то день, сейчас лишь сестренка дома, меня ведь оставить нельзя, неизвестно ведь, что мне понадобится, уроки она, что ли, готовит, а может, просто прикорнула, хорошо ведь иногда днем вздремнуть... С каким бы удовольствием я сейчас в школу пошел, а как раньше не любил, но об этом и мечтать нельзя, как нельзя мне мечтать о том, что когда-нибудь увижу море, хотя ничего так не хочу, как море увидеть, ведь лишь читал про него, да еще мама иногда про него рассказывает, до того как это случилось, они на него часто ездили, меня вот только ни разу взять не успели, а сейчас не ездят, хотя могли бы, если бы они знали, как мне это надо, то обязательно бы съездили и привезли мне раковин. Таких больших, красивых, с завитушками, изнутри отливающих розовым, а снаружи коричневых, теплых и шершавых. Но когда прошу их об этом, то говорят, что не могут, а я

понять не могу, почему, ведь если из-за меня, так я не по-
меха, оставили бы со мной сестренку, ведь мне надо, очень
надо раковину, пусть хоть одну, но это гораздо лучше,
чем все эти книжки про пиратов и про приключения
мальчиков на необитаемых островах, ведь как сами-то они
не поймут, что для меня просто му́ка читать все эти исто-
рии, когда я ни одной чайки живьем-то не видел, лишь
на картинках или по телевизору, а его-то я бы давно раз-
нес уже, но тогда мне вообще мало что останется, только
лежать и слушать, а когда лежишь и слушаешь, особен-
но летом — окна открыты, шум доносится с улицы, вот
как сейчас, так это еще хуже, может, даже хуже, чем
ночью... Уж лучше бы они съездили к морю и привезли
мне раковину, тогда бы я приставлял ее к уху, и она бы
шумела, и мне бы казалось, что это волны пакатывают
на берег, а я бегу по большому, длинному песчаному пля-
жу, бегу и тащу за собой на нитке большого, как пляж,
а может, и больше, может, как весь мир, бумажного змея,
такого, как тот, что один раз — очень давно, еще задолго
до того, как это случилось, — запускал с отцом. Тоже ле-
то было, и мы стояли на холме, и день был теплым и сол-
нечным, а змей кружил над нами, и мы смеялись, и отец
мне кричал: «Лес, Лес, смотри, как он высоко!» — И я
смотрел, а потом мы побежали за ним и бежали так дол-
го-долго, как я бы бежал за змеем по пляжу, если бы
когда-нибудь смог еще бегать, но я могу лишь лежать и
слушать, так пусть они мне тогда подарят раковину,
пусть в конце концов купят ее, ведь, наверное, продаются
же они где-нибудь... И тогда я приставлю ее к уху и буду
слушать... Слушать и видеть... Видеть и бежать... К морю...

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ «АНГЕЛАХ АДА»

— Подходи,— говорят,— мальчик, ну подходи же, не бойся...— И, может, минуту, может, две спустя:— Ну чего же ты, мальчик, плохого не будет, не бойся!

Я просыпаюсь, мне липко и душно, весь как в чаду. Окна распахнуты, лето, июль, приятная ночная прохлада входит с улицы в комнату, но мне липко и душно, пододеяльник мокрый, простыня и наволочка тоже. «Откуда взялось все это,— думаю, пытаюсь прийти в себя,— откуда, ведь столько лет, да ведь ничего и не было, так, лишь какое-то кошмарное наваждение, но ведь вернулось, да так отчетливо, будто вчера, хотя вчера-то ведь было совсем иным...»

В комнате пахнет странно, кажется, что это не моя скромная и уютная квартирка на девятом этаже нового дома в новом же районе, а прокуренный, пропахший спиртом и похотью вертеп, настолько здесь сейчас потно и грязно. Бежать бы, бежать...

— Ты куда бежишь, мальчик, стой!

Небо над головой огромное, еще не скоро стемнеет, еще даже солнце не успело зайти. Асфальт под ногами размягчен, кеды оставляют в нем вмятины, тем более что малыш ведь еще, каких-то одиннадцать, ну, может, вот-вот да двенадцать, а им всем... Боже, да стариками казались, в куртках этих своих, в лоснящихся штанах, на краснорозничных «Явах», очки у всех подняты на шлемах, а рули у мотоциклов здоровые и рогатые, будто и не мотоциклы это вовсе, а металлические ящеры, плотоядно поблескивающие своими зубами-зеркальцами. И от города-то ведь недалеко, полчаса до автобуса, а так каких-то двадцать минут, и все: двор, мама, отец, бабушка с дедушкой, спокойствие и безопасность, и чего занесло сюда, зачем?

Я все же встаю и иду в душ, а потом, даже не вытершись, лишь накинув халат, выхожу и чувствую, как потихоньку начинаю отходить. Стою и смотрю на ночной город, на эту огромную россыпь таких печальных в этот уже полночный час огней. Сколько раз уезжал отсюда и сколько возвращался, скольких оставлял здесь и скольких уже не находил. Хочется дождя, кто бы знал, как хочется дождя, может, он загасит всю эту россыпь, пахнет свежестью, очистится воздух, уйдут запахи спирта, похоти, грязи и гари, ибо и гарью вдруг пахнуло, тошноватым запахом горелого...

А поехал я просто побродить по перелескам да положить гольянов в старом заброшенном карьере. Но до карьера так и не добрался, сразу же наткнулся на этих, в раскрашенных шлемах, непонятно откуда взявшихся у нас. Теперь-то я понимаю, что овладевший мною тогда пароксизм страха был ничем иным, как материализовавшимся сгустком моих детских снов, ибо ребенок я был нервный и возбудимый, впрочем, как и в отрочестве, как и в юности, да и сейчас не могу похвастаться крепкими нервами. Но когда они вылетели из-за поворота, освещенные солнцем, посверкивающим на серебристых бензобаках, когда на мгновение вдруг дружно застыли — племя пришельцев, передовой отряд каких-то грозных завоевателей, тех, кто может разрушить мой, пока еще такой простой и ясный, теплый и понятный мир...

— Подходи,— говорят,— мальчик, ну подходи же, не бойся...

— Ты куда бежишь, мальчик, стой!

Как долго это не возвращалось, сколько спокойных, пусть не очень и веселых, но главное, что спокойных лет прошло, и вдруг... Почему? Отчего? Ведь все было так неплохо, да и впереди, казалось, ничего не грозит. Женщины? Мои отношения с ними давно равны и спокойны, безумные эмоциональные встряски не для меня, хотя в подобном всегда можно ошибаться. Друзья? Они верны,

по крайней мере, так об этом говорят. Работа? Как у всех, не лучше, не хуже, на жизнь хватает, все, в общем, нормально, да стоит ли копать в себе, предаваться интеллигентскому похныкиванию, когда мир отнюдь не располагает душу к этому, читать газеты, смотреть телевизор — что может быть печальнее, когда все кругом говорят одно: поздно, скоро может быть поздно... И вообще надо идти спать, с утра на работу, шестой этаж, кабинет, обаятельная и привлекательная коллега за соседним столом с двумя разноцветными телефонами, нет-нет, никаких дел, лишь дружески чмокая в щечку по праздникам, но все равно надо быть в форме, элегантным, побритым, наодеколоненным, без мешков под глазами, этих отличительных черт современного человека.

Пахнуло бензином, как-то очень резко пахнуло бензином и выхлопной гарью, видимо, кто-то из них прибавил газу. В воздухе повис рев взбесившихся ящеров, вот они срываются с места, все ближе, ближе, броситься бы в сторону, но ведь не убежать, никогда не убежать...

— Стой же, мальчик, стой!

— Проклятые,— кричу на бегу, плача,— что надо, отстаньте, отпустите, не трогайте! «Скорее,— думаю,— скорее домой, к маме...»

«Давно не звонил матери,— вспоминаю, сменив постельное белье и устроившись поудобнее.— Конечно, весь этот бред не лез бы сейчас в голову, если бы спал не один, но... Да что тут говорить, а матери надо позвонить, лучше даже съездить, пусть не завтра, пусть в выходные, а может, и на той неделе, но надо, ведь она так рада, когда я приезжаю, яблочный пирог, кофе, стол накрыт белой крахмальной скатертью, молчим, пьем кофе, едим пирог, почему так, почему так всю жизнь? Кофе, пирог, тишина...»

Тишина, пронеслись, уехали, как смеялись, когда я покатился в кювет и лежал в нем, всхлипывая, даже не

от боли, хотя и колени, и локти, и лицо — все было в кровотокающих ссадинах. А они встали полукругом, даже не слезая со своих рогачей, даже не выключив моторы, стояли и смеялись, лоснящиеся, довольные, готовые навсегда исчезнуть из моей жизни, вернуться на свою планету, в свой странный и страшный для меня мир.

Казалось, не выдержит сердце, это маленькое детское сердчишко, разорвется пополам, и тогда наступит спокойствие, безбрежное, как небо, июльское, полное любви и ласки. Но я все же встал и побрел по направлению к автобусной остановке, слезы текли по щекам: за что, за что они травили меня как маленького лесного звереныша, от которого ни вреда, ни пользы, просто живет, и все, бега-ет по земле, никому не мешая?

Как вдруг захотелось снова стать таким вот лесным зверенышем, маленьким существом, никому не мешающим и любящим всех, весь этот огромный страшный мир, что рассыпался гроздью ночных огней за окном. Но все бы кончилось так же, звереныши, даже маленькие и милые, вырастают и лежат, как я сейчас, не смыкая глаз в предутренние часы. А ведь скоро вставать, надо на работу, надо привести себя в порядок, позавтракать, выйти из дому и пойти по чистым, политым, свежим улицам, еще не покрытым смятыми газетами, товарными обертками, сигаретными коробками и окурками, еще не истоптанным сотнями тысяч ног, в сандалиях и босоножках, в кроссовках и сабо, просто полуботинках, просто удобных и легких летних тряпичных туфлях. И вся эта многокилометровая асфальтовая поверхность, раскинувшаяся по городу, как спрут, еще не пахнет бензином, соляной, маслом и прочей гадостью. И все прекрасны, все непорочны, как древнегреческие статуи, эти роскошные изваяния, которые большинство из нас видели либо на снимках, либо в гипсе, что так легко разбить, никакого сравнения с мрамором.

Древнегреческие изваяния и пять (а может, четыре?

шесть?) наездников, оседлавших красноникелированных рогатых ящеров, воспоминание об «ангелах ада», хотя и не знал я тогда, что их называли именно так.

ТЕ ДАЛЕКИЕ БЕЛЫЕ БАШНИ

Так уж получилось, что в свой белый, серебряный город, в свой град я вернулся тогда, когда даже память о нем выветрилась из моих предутренних снов. Ведь я забыл о нем и о самом себе — том, каким был раньше. Я забыл обо всем, лишь одно волновало меня — сегодняшний день. Нет, это не значит, что я сдался, предал мечты своей юности, но... Но в том-то и дело, что обступившая меня реальность, казалось бы, напрочь закрыла все входы в то, что было когда-то, и я — я, известный в свое время всем сверстникам как самый что ни на есть сорвиголова — стал наидобропорядочнейшим, наискучнейшим из них, полностью погруженным лишь в работу и в обыденности семейной жизни. Впрочем, иногда, ночами, что-то настигало, но это что-то было столь неопределенным, столь неуловимым, что далекие белые башни того города оставались там, где и были на самом деле — за тысячи километров от дверей моей квартиры. Они существовали отдельно, продолжали расти, надстраиваться, рельеф города изменялся, и все было уже без меня...

Но как-то раз — ох уж эти «как-то» — служебная командировка привела меня в город неподалеку и от белых башен отделяла лишь ночь езды на поезде. Это не значит, что прошлое сразу же дернулось во мне, что я стал похож на рыбешку, затрепыхавшуюся на крючке, нет. Я отдавал долг служебным обязанностям, мотался по разным конторам и комбинатам, приходил в гостиницу поздним вечером и сваливался на койку лишь с одной

мыслью: сон, где же ты, приди, накрой, унеси... Тут по-
дроспела пятница, и чья-то добрая душа вдруг оттаяла,
посочувствовала и подсказала — брось ты все это, ста-
рик, домой сегодня не улетишь, оставь дела до понедель-
ника...

...Не знаю, многим ли из вас приходилось проводить
выходные в чужом городе. По-настоящему чужом, где нет
ни одной родной души, где даже серый асфальт сентяб-
ря — а был именно сентябрь, теплый, золотистый, лишен-
ный дождей, — чужой тебе, впрочем, как и походка мимо
проходящих дев, как плач детей в колясках и скрежет
тормозов пронсящих по улице машин. Единственное,
что остается в такой вот день и в такой ситуации — так
это забрести в какую-нибудь ресторацію, заказать снеди
повкуснее и предаться злоупотреблениям под нестройные
аккорды местных лабухов. Но вот беда — мне-то хорошо
известно, что излюбленный репертуар мальчиков с гита-
рами в любом из ресторанов этого города включал в себя
две песни — «Созрели вишни в саду у дяди Вани» и «Реч-
ка Магаданка», а именно их-то я (не боясь показаться
мелочным) как раз и на дух не переношу. И я пошел
обратно в гостиницу, минуя завлекательные, ярко осве-
щенные подъезды ресторанов, афиши кинотеатров, витри-
ны магазинов. Гостиница стояла на отлете, и чтобы по-
пасть в нее, надо было пройти по небольшому переулку,
засыпанному палой сентябрьской листвой. Миновал бу-
лочную-кондитерскую, миновал небольшую забегаловку
и уже собрался было миновать так же — быстрым, рас-
серженным шагом (отчего же не сердиться, одному-то, да
еще в чужом городе?) — овощной магазин, как вдруг уви-
дел, что возле него, на самой улице, за проволоочной огра-
дой, кучами навалены дыни, арбузы и — ананасы... Да-
да, самые настоящие ананасы...

Я стоял и смотрел на эти заморские фрукты (вьетнам-
ские, как узнал), и тут-то и вспомнился мне белый, сол-
нечный, серебряный город, мой град, что лежал всего

лишь в ночи езды отсюда, на берегу синего-синего, но отнюдь не заштампованно-курортного моря. Оно было иным, настоящим, с крепкой, соленой водой — тридцать два промилле, то есть тридцать две тысячных соли на грамм воды, это вам не жалких семнадцать черноморских! И закачались тут в глазах белые башни зданий и белые корпуса кораблей, и тоска вдруг подкатила к горлу — ведь там, там мое место на земле, пусть даже давным-давно стерлась на башмаках привезенная оттуда пыль...

Вышел на перрон, повел ноздрями, как скаковая лошадь. Пахло морем. Это неудивительно, ведь оно совсем рядом, я просто пока не видел его, но знал — стоит лишь завернуть за угол, как увижу белую бабочку морского вокзала и синь зарыбит в глазах. Закурил, взял поудобнее свой «дипломат», пошел к привокзальной площади. Было такое ощущение, что некая безумная центрифуга, на которой меня раскручивали все эти долгие годы, вдруг сорвалась и выкинула из кресла — одинокого и ослепленного — в мир зрячих и шумных людей. Я забыл запах этих улиц, забыл цвет глаз местных девушек, но я помнил — всегда, — что есть на земле этот город и что именно по нему-то страдает моя душа...

— Послушайте, — спросил я шофера, — когда-то давно, ну, когда я еще жил здесь, было неподалеку от порта такое местечко, «Голубой попугай»...

И заворчал двигатель, зашумел, и понеслись мы по белым улицам мимо белых башен, и вбирал я в себя глазами кирпич, стекло, бетон и зелень, как никогда не вбирал духовную пищу!

И свершилось чудо. На месте были дощатые столики, так же пахло пролитым пивом, да вроде бы и та же краснотелая молодка в белом халате швыряла на стойку толстые литровые кружки, а в баке на плите шевелились многоногие крабы...

— Эх-ма! — говорил кто-то за моей спиной. — Рвануть бы сейчас, кореша, на юг, «капусты» загреб — увянешь! Но старуха уперлась, не пускает, дачу, говорит, надо...

И в ответ:

— А пошли ты ее, старуху!

И стало тут мне совсем хорошо, не стягивал больше горло галстук, стильный плащ не облекал плечи. Джинсы были на мне и старый свитер крупной вязки, как в те времена, когда я нет-нет да бывал в этой распивочной, которую некий шутник обозвал «Голубым попугаем». На меня не косились, всем было все равно, что за личность сидит здесь, пристойно одетая личность среди шумных и сильных людей. Может, я такой же, может, просто что-то выбило меня из их колеи, но ведь можно вернуться, всегда можно вернуться...

Я допил пиво, расплатился и поехал искать номер в гостинице. И тут-то случилось еще одно, новое чудо. Лишь стал пересекать улицу, направляясь к сверкающим, вращающимся дверям с тайной надеждой, что хоть на этот-то раз да не услышу «нет», как вдруг затормозил возле меня задрипанный автомобильчик, то ли «Москвич», то ли «фольксваген».

— Черт, слушай, ты? — Я смотрел на загорелое, крупное лицо, на сверкающие в улыбке зубы и вдруг задрожал, заструился воздух, мгновенно и неуловимо изменилось все вокруг. Пляж я увидел и мальчишек на пляже... тонкие, загорелые, в плавках, валяющиеся на песке... Фимка, Ефим? О, боги, боги, неужто такое бывает еще на свете...

Друг мой Ефим, с которым сидели за партой, друг мой Ефим, с которым таскали бананы и ананасы из порта, друг мой Ефим, с которым дрались до крови, друг мой Ефим, с которым мирились до слез, белозубый и загорелый, в форменной фуражке с крабом, штурман, морской бродяга, совсем недавно вернувшийся из Сингапура...

— Какая гостиница? — кричит, отмахиваясь от надо-

едливых автомобильных гудков, ведь так и не ушли с перекрестка.— Ты женат? — кричит.— Плевать! Разведешься, сволочь ты этакая, дурак пропащий, найдем тебе краля с хатой, женим и здесь поселим! Садись! — кричит.— Ко мне погоним, со своей бабой познакомя... Каких два дня, какая командировка, я сам твоему начальнику позвоню, филиал здесь откроют, заведовать будешь!

И все выше, выше взбирается наш «жучок» (все же «фольксвагеном» оказалась Ефимовская колымага) по крутым, мощеным улицам, ведущим в сопки.

— Вот тут была школа,— говорит Ефим,— недавно снесли...— И я послушно, как турист на экскурсии, верчу головой, хотя все эти улицы знакомы моим ступням.

— А тут ты жил...

— А это я и сам помню,— говорю ему, и мы смеемся, и он дает газ, потом сбрасывает, переключает скорость, вновь дает газ, а небо все ближе и солнце ближе, а снизу — море, как полетим сейчас, как покатымся кубарем по этим мощеным улочкам мимо белых домов, белых башен...

— Приехали,— говорит Ефим,— пора колымагу менять. Скоро новую привезу.

Не верьте, если вам плохо говорят о моряцких женах. В любой семье не без уroda, но не верьте тому, что говорят порой о моряцких женах!

Мы сидим с Ефимом и курим. Его тоненькая, тихая Алена, ублажив нас прекраснейшим украинским борщом и бараньей ляжкой с чесноком, зажаренной в духовке, варит на кухне кофе.

— Вот такие-то дела,— говорит мне Ефим,— вот и выходит, что я тебе все рассказал, мало кто из наших остался в городе...— Он не продолжает: мол, понимай, как знаешь. Мне хочется спросить, мне мучительно хочется спросить, но я тянусь за новой сигаретой.

— А что про Наташку не спрашиваешь? — вдруг говорит Ефим. — Что, не интересно?

— А что же Наташка? — спрашиваю я.

(...Сколько можно было бы навспоминать здесь! И про пресловутые прогулки под луной — кто из нас в конце школы не гулял вот так, обняв рядом шествующее существо за талию, под отчетливой, майской, полновесной луной? И про неурядицы того давнего, первого романа — у кого, интересно мне, первый роман обходится без неурядиц? Ведь это же невозможно, ведь это же немыслимо, чтобы простым и солнечным был он, этот давний, первый роман... И про расставание, про ночной воздух аэропорта — острый и свежий, почему-то пахнущий огурцами, про молчание, долгое и жужжащее, как муха, у молчания ведь тоже есть свой голос... И, наконец, трап подан, мягкие кресла авиалайнера ждут вас, ждет глянцева улыбочка стюардессы и ее замедленная кинопоходка — ведь каждая стюардесса в душе своей кинозвезда... А там, за трапом, там, где кончается летное поле... Да что говорить сейчас!)

— В столице Наташка, — отвечает Ефим. — Пойдем, что ли, старик, погуляем!

— Вначале кофе, — кричит из кухни Алена, — мальчики, выпейте вначале кофе.

И мы пьем кофе, а потом переодеваюсь в старые Ефимовские джинсы и свитер, зашнуровываю его теннисные туфли и говорю:

— Что, старик, о'кей?

— О'кей, — отвечает Ефим, — ты, парень, просто на большой!

И мы идем в центр города, на морской проспект. Нас не интересуют афиши, нам плевать на ресторанный чад, нам жаль времени на разрисованных фирменных девочек. Мы идем по проспекту, доходим до набережной и спускаемся к морю.

— Вот оно, — говорит Ефим.

— Сам не дурак,— отвечаю я,— вижу...

На судах загорается свет, освещается и набережная. Буквально в метре от меня, в сине-зеленой, прохладной мгле шевелит своими щупальцами медуза, крадется по дну крупная морская звезда. Я смотрю на воду и думаю о том, как мы сбегали сюда с уроков — Ефим, Наташка, Танька, Борька и я. Ведь стояли такие же сентябри и так же становилось прохладно к вечеру, но мы сбегали с уроков и сидели в воде до посинения — тела и ночи.

— Не хочешь искупнуться? — спрашиваю у Ефима.

— Да нет, старик, ты лезь, если хочешь...

Стаскиваю свитер, снимаю джинсы и теннисные туфли, пробую ногой воду и вхожу в нее. Она прохладна, но ласкова, она роднее всего мне сейчас. Становится глубже, вот вода доходит до бедер, вот до груди... Ныряю, плыву, отфыркиваюсь и начинаю равномерно, классическим кролем, удаляться от берега.

Все ближе и ближе гирлянды огней на судах, все дальше и дальше гирлянды огней на суше. Смыкается небо с водой, и рук уж моих не видно. Но чувствую воду и руки, чувствую, как тело вновь вспоминает о силе, той силе, что дана, казалось, только загорелым мальчишкам, часами пропадавшим на пляже. Плыву классическим кролем, все дальше и дальше, огни, гирлянды, все дальше и дальше, огни, гирлянды... И кажется, что ничего и никогда не было, кроме этого вот часа, кроме этого ослепительного как мой белый, серебряный, возлюбленный город, мой град, мгновения, что лишь ради него был рожден я своей матерью: ради этого мгновения освобождения, счастья, соленой воды на губах. И как раз в эту минуту уходящие в рейс суда начинают давать прощальные гудки, а высоко-высоко в небе пронзительным светом загорается полная сентябрьская луна...

МАЛЫШ

Он ждал меня после работы, ждал внизу, в большом обшарпанном холле нашего заведения, притулившись с краешку длинной, неудобной скамейки, стоящей в самом углу. Сидел как-то понурившись, съежившись, будто цыпленок, причем, в свои восемь с небольшим он и так был похож на маленького любопытного цыпленка, вот только сейчас любопытство сменилось печалью, какой-то совершенно не детской, а может, он просто очень замерз, пока ехал сюда, ко мне, ведь одет-то он был отнюдь не по погоде: вельветовые брючонки да легкий свитерок, а август уже летел к концу, и начала желтеть листва, и ознобом тянуло с севера.

— Здравствуй,— сказал он,— я давно тебя жду.— И доверчиво, как-то очень доверчиво взял меня за руку.

— Замерзнешь,— проговорил я.

— Нет,— бросил он, и мы пошли к дверям, толкаясь между моих коллег, большинство из которых я даже не знал по имени, причем, как и они меня, и — тем более — никто из них не знал его: сын, племянник, младший брат?

— Не беги так,— попросил он, когда мы вышли на улицу,— я стер ногу и никак за тобой не успеваю!

— Эх ты, Малыш! — И тут он засмеялся, будто я сказал что-то удивительно приятное, а ведь я просто назвал его тем давним прозвищем, каким его называли дома лет в пять-шесть, то есть именно тогда, когда я и познакомился с ним, точнее же — с его мамой.

— Так что случилось? — спросил я, стараясь идти с ним в ногу, двое важно шагающих мужчин, большой и маленький, рабочий день окончен, впереди вечер, уют и тепло квартиры, любовно приготовленный ужин, кто-то ждет дома, хлопочет у стола, а потом семейные посиделки у телевизора или же просто — молча, но рядом, все

вместе, в ожидании того часа, когда надо сорваться в сон, ведь завтра снова рабочий день, но это завтра, а пока еще только начинается вечер и все спешат по домам...

— Да ничего,— отвечает он,— я ушел из дому.

— Как? — обалдело спрашиваю я.

— А как уходят? — рассудительно так отвечает, будто и не восемь с небольшим ему, будто намного больше.— Взял да ушел, только ты не думай, между ними ничего не случилось, у них все хорошо, так хорошо, как давно не было, а мне вот стало грустно и я ушел...

Смотрю, а он уже чуть не плачет, такой вдруг сразу сделался потерянный, будто нашкодил, а сознаться боится, а может, и не нашкодил, может, просто его в чем-то обвинили, а он этого никогда и не делал, а все равно обидно, вот так, до слез...

— И к бабушке я не хочу,— продолжал Малыш,— она сразу маме позвонит, а та плакать начнет, а когда мама плачет, то мне очень плохо, будто болею...

— Малыш,— говорю я, хотя и понимаю, что начну нести сейчас самую нудную взрослую чушь,— Малыш, ты ведь прекрасно понимаешь, что мама и так будет плакать, начнет звонить по милициям и больницам, у нее может стать плохо с сердцем...

— Замолчи! — вдруг грубо обрывает он меня, а потом уже своим прежним, детским голоском, только очень как-то жалостливо: — Не сердись, пожалуйста, я не хотел тебя обидеть, но пойми, я просто ушел, ну, так мне было надо, да и потом, ведь я так давно тебя не видел, ты обещал приехать ко мне еще в начале лета, а уж август кончается и скоро снова в школу, и ни на рыбалку, ни в горы мы с тобой не съездили, на пол-лета они меня в лагерь отправили и снова — торчи тут, мама и отец на работе, играть ни с кем не хочется, да и читать надоело!

— Ты просто взрослеешь,— говорю я, а сам чувствую, как что-то сжимает мне горло, больно говорить и дышать, ведь как мне объяснить ему, что я-то действитель-

но хотел взять его и на рыбалку, и в горы, но ведь мы, взрослые, большей частью несвободны в своих поступках и желаниях в отличие от таких вот мальчуганов в вельветовых брючонках и тоненьких свитерках...— Ты просто взрослеешь,— повторяю я,— но уходить из дому все равно не стоит. Слушай, а может, ты все же поссорился с мамой?

— Нет,— обрывает он.

— Как там она? — спрашиваю, хотя и понимаю, что на этот вопрос он-то мне как раз и не ответит...

Мы идем так уже с полчаса. Малыш не выносит общественный транспорт, это я уяснил еще в самом начале знакомства с его семьей. Но ходить с ним по улицам — одно наслаждение, будто сам становлюсь вот таким же, лет восьми с небольшим от роду, и готов бесконечно глазеть по сторонам, зная, что все еще впереди и что все сегодняшние неприятности — просто ерунда, ведь будет завтра, а потом и послезавтра, вот только в школу не очень хочется, но и это надо. Ну а мне сейчас надо сделать нечто иное, надо войти в первую встречную телефонную будку и позвонить ему домой. Я не верю, что он ушел, не спросившись, он слишком любит свою маму, да и вообще из тех, кого называют «послушный ребенок». Он мог нафантазировать и себе, и мне, а дома сказать, что поехал в парк или к приятелю. Но ведь уже вечер, и она-то сейчас явно волнуется, и потом — вдруг он ушел, действительно ничего им не сказав, ни ей, ни ему, и они сейчас сходят с ума, не зная, что он жив-здоров, что ничего с ним не случилось, разве что он со мной... Сказать же Малышу, что мне надо звонить ему домой, я не могу, это было бы предательством. И делаю вид, что забыл что-то на работе, начинаю затравленно озираться по сторонам и растерянно хлопать ушами в ответ на какие-то его забавные рассуждения, и он сам говорит мне:

— Да иди, позвони, а то с тобой сразу стало неинтересно...

Гудки длинные, они так же длинны, как то время, что я не набирал этот номер. Но потом трубку снимают и слышу голос, такой же, как всегда, разве, может, чуточку сонный...

— Спишь? — говорю вместо приветствия. — Прости, что беспокою, но ко мне на работу приехал Малыш и сказал, что он ушел из дому... Не волнуйся, он просто что-то придумал, сама знаешь, какой он у тебя... Нет... Нет... Он не голоден, по крайней мере, он не похож на голодного детеныша... Не кипятись, слушай, скоро запикает, а двушек больше нет... Да... Да... Он сейчас не поедет, ты знаешь... Ладно, договорились... — И вешаю трубку, и чувствую, что ладони у меня стали мокрыми и даже по виску стекает большая теплая капля пота...

— Все нормально, Малыш, — говорю, выходя из будки. Он кивает в ответ, сидя на корточках и чертя что-то мелком на асфальте, у него карманы вечно набиты всякой всячиной, в том числе и мелками. — Все в порядке, — продолжаю я, — ну, что будем делать?

— Пойдем, — вдруг как-то очень восторженно говорит он, — пойдем снова туда есть мороженое?!

— Конечно, — отвечаю я, — но тогда надо поймать такси, ведь если ты хочешь именно туда, где мы уже были, то пешком нам очень долго...

— Ладно, — милостиво кивает он, — поехали тогда на такси!

«Вот это память», — думаю, пока мы чинно восседаем на заднем сиденье довольно-таки обшарпанной машины. Ведь в том павильончике на набережной он был со мною два года назад, еще совсем малолеткой, когда нам — его матери и мне — надо было окончательно расставить все точки той безумной весны, а его некуда было деть, вот он и уничтожал пломбир с орехами, пломбир с клубничным конфижем, пломбир с чем-то там еще...

— Смотри, — говорит он, — работает, и народу совсем нет!

— Ты замерзнешь от такого количества мороженого,— говорю ему,— нос отвалится, вихры повыпадают.

— Не-е-ет,— качает он головой и продолжает жевать.

— Может, решишь вернуться домой?

— Позже, ладно, я вернусь, но только позже...

— Так отчего ты ушел?

— Закажи еще мороженого...

— Хорошо, но только ответь.

— А я серьезно не знаю, мне просто очень захотелось тебя видеть, знаешь, сегодня мне приснилось, что ты — мой папа, именно ты, а не папа. Ну, и с утра мне захотелось тебя увидеть, да потом, ты ведь обещал приехать в самом начале лета, а уже август, и ни рыбалки, ни гор не будет, должен же я тебе об этом сказать...

— Малыш,— говорю я ему, и снова вдруг что-то сдавливает горло и вновь трудно говорить и дышать.

— Да ты не расстраивайся,— говорит он мне,— что поделать, если ты не мой папа, ведь мы же с мамой в этом не виноваты, да и никто в этом не виноват, так что не расстраивайся, а мороженого я больше не хочу, спасибо!

— А теперь куда? В кино хочешь?

— Нет, поехали к тебе, я никогда у тебя не был, а мне интересно...

«Честно говоря,— думаю я,— на вечер у меня были иные планы, но не так уж, видимо, все это важно...» — и я нахожу еще одну двушку и еще один телефон-автомат, и что-то говорю, а потом мы вновь ловим такси и едем ко мне домой.

Время позднее, уже в такси он начал позевывать, но еще держался, как держался и у меня дома, пока я готовил ужин на скорую руку, а он сидел в комнате и смотрел книжки. Потом я погнал его в душ, пока он плескался, еще раз позвонил ему домой, а после душа уложил его на свою постель и стал рассказывать ему про то, как на будущее лето мы с ним обязательно поедem и в

горы, и на рыбалку, ведь на будущее лето я уже точно сдержу данное слово. На улице же начался дождь, такой, какие обычно предвещают осень — затяжной, въедливый, холодный, погребаящий под собой всю память о прошедшем лете. Малыш уснул, а полчаса спустя в дверь постучали. Она пришла мокрая и какая-то поникшая, кивнула мне и сразу прошла к нему. Я вышел на кухню и курил, стоя у форточки все то время, пока он, похныкивая, будто и не восемь с небольшим ему, будто еще совсем кроха, собирался, а она мягко и ласково уговаривала его. Наконец они собрались, и я вышел к ним. Малыш уже не дулся на меня, да он никогда и не сердился по долгу.

— Я еще приду, — серьезно сказал он, а потом, помолчав, сообщил: — Мы сейчас тоже на такси поедem... — И вышел в подъезд, а она, на минуту задержавшись, сказала:

— А ведь могло...

— Да-да, — перебил я ее, поскорее выпроваживая вслед за Малышом и стараясь показать, что устал, что мне очень хочется спать, — да-да, конечно, могло...

Я закрыл за ними дверь, повернул ручку замка и накинул цепочку. Меня всего колотило, но вот отчего? Дождь все шумел за окном, август близился к концу, вот-вот да нагрянет осень и у Малыша начнется школа... А я? Да что я, у меня впереди отпуск, взморье, бархатный сезон и бархатные девицы в тени уже пожухлых виноградников, а потом снова работа, и зима, и, естественно, весна, а там, глядишь, и лето, и — кто знает, — но, может, будут и горы, и рыбалка, вот только будет ли Малыш? «Странно и смешно, — подумал я, — как все это странно и смешно, а ведь могло...»

Дождь припустил сильнее, я встал, включил телевизор и стал смотреть заключительную в этот вечер программу новостей.

В ШТОРМ, НЕДЕЛЮ НАЗАД

Ветер несет листву, желтую, хрустящую под ногами, ломкую листву конца августа, будто говоря этим: подожди, осталось немного, совсем немного, и кончится лето, закружит тебя сентябрь, понесет навстречу зиме, ее тусклым сумеркам, белой ностальгии снега, да многое что еще будет, когда наступит сентябрь...

Хлопает форточка, ветер бьется в окно, небо над городом рыхлое, низкое, впрочем, как всегда в это время в наших краях, и уже наступает та неуловимая грань, когда лето внезапно сменяется осенью, хотя еще вчера все было не так и казалось, что лето никогда не кончится, что вечно будет цвести кипрей и носиться по улицам тополиный пух, а бабочки гордо и красиво будут подрагивать своими крылышками, словно произнося какие-то никому не ведомые заклинания...

Но, может, все это воспринимается мною так остро оттого, что лишь вчера самолет перенес меня в родной город из далекого Симферополя и не только в памяти, но и в теле все еще живет ощущение моря, неба, гортанных криков чаек, шуршания ящерок по крымскому песку, необычайной легкости и беззаботности, в которых пребывал я почти месяц, забыв или, по крайней мере, думая, что забыл и этот город, и его прямые, обсаженные тополями улицы, и дым, что низко нависает над ними, когда ветер начинает дуть со стороны заводских районов, и то ощущение постоянно сжатой, но в любую минуту готовой распрямиться пружины, что живет внутри тебя и заставляет все время быть настороже.

А ведь еще недавно я валялся на береговой гальке и смотрел, какие фантастические облики принимают нависающие над морем облака. Вон дракон, вон пагода, вон тигр, приготовившийся к прыжку, а это что? Дельфин?

Дельфиноволк? Что-то зловещее, а может, наоборот — необыкновенно доброе, но это что-то рождено уже именно во мне самом, мираж, видение...

Становится жарко, давно пора в воду, взять ласты, маску с трубкой и поплыть за рапанами, чувствуя и себя и море, чувствуя, как набегающая волна лениво поднимает тебя, передает следующей, та — другой, невидимая, но воспринимаемая эстафета волн, и не будет ничего, ни вчера, ни завтра, всей этой длинной вереницы уже прожитых и еще предстоящих дней, лишь мгновение волн и мгновение моря, которое вдруг как бы насупилось у самого горизонта, словно сдвинуло брови.

— Дяденька, здравствуй!

— Здравствуй, Миша! — отвечаю я. Он садится рядом на большой камень, этакий голенастый, цыпкастый, коричневый от солнца лягушонок с выцветшими вихрами, облупившимся носом и уймой ссадин, количество которых, по-моему, просто невозможно сосчитать.

— Ты что поймал?

— Знаешь, — отвечаю, — сегодня еще ничего, но ведь я и не плавал так долго, как обычно, я ждал тебя.

— Правда?

— А ты как думаешь?

— Пойдем ловить крабов...

(Именно с этого предложения и началось наше знакомство. Я лежал на этом же самом месте, и день был почти такой же, обыкновенный, южный, отпускной день полнейшего безделья, растворения в лени и покое, замутненный разве что какими-то неясными теньями прошлого, которые, впрочем, было очень легко отогнать, стоило только закрыть глаза и отдаться этому легкому ветру, солнцу и соленым брызгам, изредка попадающим в тебя.

— Дяденька, — вдруг позвал меня кто-то, — дяденька, пойдем ловить крабов...

И мы пошли, долго бродили вдоль берега, переворачивая камни, запуская руки в мокрые охапки водорослей,

лежащие на берегу, а чаще всего присаживались над небольшими заводями, опускали туда приманку — кусочек мяса рапана, насаженный на острую проволоку, и ждали, когда из-под ближайшего камня покажется небольшое, юркое восьминое тельце с двумя клешнями, боевой и рабочей.)

— Так пойдем? — повторяет Миша.

— Конечно, — отвечаю я.

И мы идем вдоль берега, лениво, непринужденно, как двое людей — пусть один из них большой, а другой еще совсем маленький, лет шести, не больше, — которым действительно абсолютно некуда торопиться, и вся их жизнь и состоит лишь в том, чтобы вот так бродить по пляжу да ловить крабов и прочую живность.

Ветер же с моря усилился, горизонт как бы приблизился к нам, а по синей ряби побежали белые барашки.

— Миша, — говорю я, — шторм будет, не пора ли обратно?

— А ты боишься? — спрашивает он.

— Так я ведь большой.

— Ну и что, ведь я сказал маме, что с тобой...

Меня поражает эта его логика, и я почему-то вспоминаю Малыша и его подобные умозаключения, которые действуют на меня, пожалуй, даже сильнее, а лучше сказать — действовали, ибо мы слишком редко стали видеться, чтобы я что-то мог говорить о действии его умозаключений. Но Малыш уже большой, совсем большой, хотя многое отдал бы я, чтобы в эти минуты именно он перепрыгивал рядом со мной с камня на камень, с камня на камень, то присаживаясь над заводью на корточках, то снова пускаясь вприпрыжку, доверчиво и как-то очень нежно.

«Малыш, — думаю я, стараясь не отстать от Миши, — Малыш, конечно, я могу привезти тебе и крабов и рапанов, я могу наловить для тебя множество чудеснейших жуков и бабочек, но что это изменит? Ведь все будет

так же, так же редко мы будем встречаться на улицах и бродить, двое мужчин — большой и маленький, постарше Миши, но не намного, — будем бродить и вести странные, лишь нам понятные разговоры, а потом расходиться, чтобы встретиться через месяц, а то два или даже три...»

— Дядя! — почти что кричит Миша, и я вижу, как большущая волна разбивается о гряду камней в нескольких метрах от нас.

— Побежали! — кричу я, хватаю его за руку, и мы бежим обратно по берегу, туда, где еще на днях я заметил что-то наподобие бухточки с большим гротом в почти что отвесной стене.

Горизонта не видно, он практически сомкнулся с берегом, за какие-то полчаса успев превратиться в ревущую гряду волн, которая, кажется, вот-вот да настигнет нас, погребет под собой, как давно уже погребены в низком штормовом пебе следы давних призрачных видений — все эти драконы, и пагоды, тигры и дельфиноволки, как, кажется, погребен и сам этот день, такой чистый в своем начале...

Мы сидим в гроте на корточках. Миша дрожит, я пытаюсь разжечь небольшой костерчик из сухого плавника и успокоить мальчонку, говоря, что подобный шторм не может быть долго, что скоро мы снова пойдем по берегу и я отведу его к маме, а завтра, когда опять будет хорошая погода, мы вновь пойдем ловить крабов и наловим их множество — ведь это не секрет, что после шторма они не так боязливы.

— Правда? — удивленно и как-то очень восторженно спрашивает он, и я отвечаю: — Правда! — и начинаю вдруг рассказывать ему про Малыша, про то, что он-то уж точно не испугался бы такого шторма, а даже обрадовался, ведь мало кто из ребят может похвастаться, что видел шторм так близко, но не испугался его.

— А ты нас познакомишь? — вдруг говорит Миша.

— Конечно, — отвечаю я, — но только на будущий год,

когда мы все снова встретимся здесь и вместе пойдем ловить крабов...

И я всерьез верю в то, что говорю, мне кажется, что год спустя мы действительно будем идти этой же кромкой берега — Миша, Малыш и я, — и море будет тихим, а крабов — великое множество.

— Смотри, — вдруг говорит Миша.

Я смотрю на море и вижу, что волна спала, а там, где не так давно не было ничего, кроме тьмы, появился маленький золотистый луч.

— Вот и все, — говорю ему, — шторм кончается, да разве это шторм... — И я увлеченно начинаю рассказывать, какие штормы бывают на настоящем океане, когда волны достигают в высоту размеров многоэтажного дома, а к берегу страшно подойти. Мы выходим из грота и начинаем пробираться по направлению к поселку, где Мишу ждет мама, а меня — обычный отпускной вечер, немного кайфа, немного тоски. Продолжает штормить, но кажется, что все уже позади, а завтра и следов не останется, море снова станет гладким, почти зеркальным.

— Ну, не испугался? — спрашиваю его на прощание.

— Да нет, — как-то очень уверенно отвечает он, — ведь я уже большой. — И вдруг добавляет: — Как Малыш!

Его фигурка тает в ближайшей поселковой улице, я стою, глядя ему вслед еще несколько минут, а потом снова возвращаюсь к морю. Оно продолжает грызть берег, но ярость стала какой-то опустошенной и бессильной, как бывает при очень большой усталости. Отдыхающих почти нет, шторм всех загнал обратно в поселок, там сейчас весело, там музыка, там вино и беспечные разговоры. Надо пойти к ним, туда, надо раствориться в этой безалаберной мешанине, забыть Мишу, забыть Малыша, забыть себя... И я бросаю в воду камешки, в набегающую, еще почти что штормовую волну, хотя какой это шторм, на океане я действительно видел кое-что поинтереснее...

...Ветер снова ударяет в окно, мощно и сильно, небо совсем тускнеет, я встаю и зажигаю свет. «Надо разобрать и почистить раковины», — думаю, доставая из чемодана большой, увесистый полиэтиленовый пакет, набитый крупными, почти с кулак, рапанами, еще покрытыми засохшими водорослями и маленькими скорлупками беззащитно раскрывшихся мидий. Я наловил их через два дня после шторма, часть отдал Мише, а остальное он упросил меня взять с собой, для Малыша. Через полчаса я составляю красивые, очищенные ракушки на полке в серванте и думаю о том, что же мне придется сказать Мише на будущий год, если, конечно, мы встретимся и опять пойдем ловить крабов.

За окном — настоящая вакханалия, кажется, что ничего и не было, лишь ветер да начинающийся дождь, что, впрочем, и должно быть в наших местах в конце августа, когда лето уже сменилось осенью, пусть даже не по календарю.

Ветер, дождь, и не видно горизонта. «Почти как в шторм, — думаю я, — почти как в тот самый шторм, что неделю назад...».

СКАЖИТЕ ЧТО-НИБУДЬ ДРУГ ДРУГУ

— Оставь, — говорит, — меня в покое! Ты понял? Очень прошу, не звони больше, не приходи...

Я лениво читаю газету. Солнечный сентябрьский денек, в какой только и предаваться кайфу в золоченой аллее этого маленького парка. Впрочем, лишь сейчас он стал маленьким, а когда-то — жемчужина парковой архитектуры, памятник союзного значения, толпы экскурсантов, завистливо-восхищенное «ведь жили люди...». А еще

раньше белые зонты дам, дорогие сигары, завтраки на траве. Я же лениво читаю газету и прислушиваюсь — что поделать, ведь скамейки-то рядом, каких-то два-три метра — к разговору нахохлившейся, невеселой пары. Солнечный сентябрьский денек, золоченая аллея, суббота, еще только суббота...

Газетные листы тревожны. В Ливане напряженно, в Чаде высадился полк парашютистов, американский президент выступил с новым заявлением в сенате...

— Ты понимаешь, что может произойти? Ведь если он узнает, то не остановится ни перед чем, вот уж действительно — нам сейчас лишь этого не хватало...

Сижу, лениво читаю газету и жду Малыша. Сегодня — его день. Вчера, когда поздно вечером, уже после десяти, он позвонил мне, то мы договорились, что проведем субботу именно так — в этом парке, наблюдая за последними бабочками и жуками, вороша охапки сухих листьев, радуясь тому, что вот оно наконец пришло, бабье лето и что это будет наш день, что бы ни писали в газетах, ни говорили по радио и ни вещали дикторы по ТВ.

— Но ведь можно что-то предпринять, ведь ты должен знать, что можно предпринять, ведь ты не мальчик...

— Но и ты не девочка, слава богу!

Она красива, я не просто констатирую это, она из тех, что зажигает сразу. В ней есть что-то от мамы Малыша, хотя... Что, впрочем, хотя... Его мать я видел в последний раз уже довольно давно, пожалуй, тогда, когда он ушел из дому и она приезжала ко мне за ним ночью. Почему-то хочется встать, подойти к этой паре и сказать, что если им действительно хорошо вместе, так надо вместе и быть. Но я сижу, лениво шуршу газетой, солнечный сентябрьский денек, золоченая аллея, в конце которой наконец появляется его тоненькая, нескладная фигурка, свитер, джинсики, кеды...

— Привет, — говорит, — давно ждешь? Как там наши бабочки?

— Слушай, я видел обалденную траурницу...

— Она была большая?

— У-у, такая большая, даже представить не можешь...

— Я больше не могу, — говорит она ему, — ну придумай что-нибудь, я боюсь идти домой, я не могу видеть его, мне страшно, я хочу... Боже, как все было хорошо в самом начале, помнишь?

— Так мы идем? — спрашивает Малыш.

— Смотри, — отвечаю я и показываю на траурницу, которая кружит над ближайшим газоном.

— А я тройку схватил, только не думай, что не знал, все знал, все до капельки, но...

— Но так вот получилось, и теперь ты презренный троешник. А знаешь, что троешникам запрещается смотреть и на бабочек, и на жуков, троешникам надо сидеть дома и учить уроки?

— Суббота, — говорит Малыш, — у меня пять уроков было.

— Я хочу курить, — говорит женщина.

— Тебе нельзя, ты это прекрасно знаешь...

— Как мама? — спрашиваю я.

— Просила, чтобы мы не долго, а то волноваться будет.

— Ведь это так просто, — говорит он, — я договорюсь с хорошим врачом.

— Знаю, на большее ты и не способен, лишь бы все было тихо и спокойно, ты слишком дрожишь за свою шкуру, что-то изменить — это не для тебя. Еще бы, работа, карьера...

— Идем, ну, идем же... — тянет меня Малыш, и мы встаем и идем с ним по золоченой аллее. Теплый сентябрьский денек, газета осталась на скамейке, как остались на ней и все неприятности мира, и все его достижения, как осталась на скамейке рядом и пара, чей диалог я случайно услышал.

— Смотри, — говорит Малыш.

Посреди парка есть маленькое озерко, а на нем развалины старой, еще прошлого века беседки. Помню, что в далеком детстве я частенько играл там в прятки, казаки-разбойники, сыщики-воры и прочие детские развлечения. Мне неизвестно, во что играет с друзьями Малыш, но мы идем на мостик, что связывает берег с островком. Несколько мальчуганов, может, чуть постарше Малыша, ловят рыбу, по воде плавают утки, на другом берегу озера запускают кордовые модели самолетов, а над самим островком трепещет чей-то яркий, солнечный, как весь этот денек, воздушный змей... Суббота, бабье лето, Малыш счастлив, еще бы, ведь сегодня нам предстоит поход в зоопарк, а потом мультики, а потом мороженое, хотя, честно говоря, я бы не уходил отсюда, бродил бы здесь до вечера и даже поиграл бы с ним в прятки, казаки-разбойники, сыщики-воры или что там еще...

— Ты чего такой грустный? — спрашивает Малыш. — У тебя неприятности?

— Да нет, Малыш. Все хорошо, просто устал что-то...

Все хорошо, все хорошо, просто устал что-то, да и не всегда ведь бывает бабье лето. Был другой парк, и была зима, падал снег, мягкий, белый. Мы говорили и говорили, а потом она встала и ушла, я же смотрел ей вслед и чувствовал, как что-то меняется в мире и что он, этот мир, уже никогда не станет таким, как прежде. «Слава богу, Малыш, — думаю я, — что твоя мама — человек здравомыслящий, и пусть нас давно уже ничего не связывает, и пусть мы просто приятели, но в такой вот теплый сентябрьский денек я могу идти с тобой по этой золоченой аллее, идти и искать последних в этом году траурниц...»

Как это только что говорилось: «На большее ты и не способен, лишь бы все было тихо и спокойно, слишком дрожишь за свою шкуру и карьеру, что-то изменить...» Что-то изменить, но вот что?

— Ты меня совсем не слушаешь, — говорит Малыш, —

я тебе рассказываю и рассказываю, а ты меня совсем не слушаешь, вот возьму и не приду больше, ходи тогда один и сам смотри на своих бабочек!..

А у самого слезы на глазах, маленький такой сразу стал, несчастненький, что хочется погладить по голове, прижать к себе и поцеловать в макушку, хотя все эти сантименты не для него, он этого не любит, он мужчина, пусть и маленький, но мужчина, чем я всегда горжусь. Что ни говори, но человек-то родной, и горько становится, и больно, когда представишь, что может ждать его в этом мире с тревожно шуршащими газетами, с наемниками, террористами, а главное — с ложью и фарисейством, чего так много вокруг, но о чем пока он, к счастью, не имеет никакого понятия.

«Малыш,— хочется сказать ему,— Малыш, родной, не бойся. Это главное — никогда и ничего не бояться и всегда чувствовать себя человеком, да и потом — я с тобой, а мы ведь друзья, друзья же всегда помогут, так что не бойся, ничего не бойся...»

— Мы идем в зоопарк?

— Конечно...

Теплый сентябрьский денек, золоченая аллея. Совпадение, но та самая пара идет к выходу вместе с нами. У нее заплаканные глаза, а он какой-то увядший, будто вставший в вазе цветок. Малыш крепко держит меня за руку, у него в глазах слоны и тигры, крокодилы и питоны, а мне хочется подойти к этим двоим и сказать: «Да бросьте, да не майтесь, мало ли что бывает, но если нам это надо, если действительно надо, то будьте вместе. Улыбнитесь, возьмитесь за руку, скажите что-нибудь друг другу!»

— Ну, скоро ты! — торопит меня Малыш...

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЯПОНИЮ

- Ну и куда ты на этот раз?
- В Японию.
- Куда, куда?
- В Японию...
- Ты что, серьезно?
- Вполне.
- Ну и катись, слышишь, катись, понял?!

Долго не кладу трубку, сижу и бессмысленно держу ее в руке. «Вот так,— думаю,— вот и очередной раз, сколько их уже было? И сколько еще будет?»

А может, действительно махнуть в Японию? Ведь это совсем не сложно, надо накопить какую-то тысячу, и все. Нет, не все. Еще достать путевку, что гораздо сложнее, но и это можно. Программа на ближайшие пять-шесть лет. Зато потом...

Я представляю, как вернусь и наберу ее номер. «Да, дорогая,— говорю ей,— я видел Фудзи, это просто фантастическое зрелище, она и белая, и розовая, и коричневая, это самая красивая гора на свете, как я жалел, что тебя не было рядом... А Токио — потрясающий город, да даже не город, конгломерат городов, какое-то немыслимое смешение домов и людей... А Йокогама, запах воды и нефти...» Да что я несу, какая Йокогама, какое Токио?

Наконец, трубка положена. На кухне фырчит чайник, он фырчит уже давно, но лень встать и пойти. Я по-прежнему смотрю на телефон и думаю, какой черт дернул меня за язык, что заставило нести всякую чушь про Японию, будто действительно туда собираюсь. Но ведь должен был хоть что-то сказать, ведь опять начались эти ее неопределенные экивоки, эти междометия, которые пони-

май как хочешь, а я не мальчик, мне не нравится, когда мною начинают играть.

Играть... А ты уверен в этом, хочется спросить себя самого. Играть... Но как иначе я могу реагировать на эти редкие звонки, которых уже перестаешь ждать, и тогда, именно тогда они и случаются. И вроде бы ничего уже не надо, вроде бы все перегорело, но раздается звонок, и ты бежишь, хотя и знаешь, что все это опять кончится получасовым свиданием. Получасовое свидание, раз в месяц, который уже год...

Наконец, добираюсь до кухни и выключаю чайник. Он еще ничего, еще не успел расплавиться, а значит, можно выпить чаю и помечтать о Японии, в которой никогда не придется побывать.

Так она позвонила мне и в прошлый раз, когда я валился с дикой простудой, позвонила только затем, чтобы вытащить консультантом в магазин — ее мужу надо было купить брюки, а сама она не решалась выбирать. Нет, я не виню ее за это, я прекрасно понимаю, что покупать брюки мужу — занятие, иногда достойное не только жены, но и ее любовника. Хотя какой я любовник, если что и было, то так давно, что даже память об этом выветрилась из моего тела. Просто приятели, просто старые знакомые, сколько лет, пять, десять?

Может, она все-таки перезвонит? И чего мне далась эта Япония?

В Японию я, конечно, не поеду, но вот на подводную охоту вполне можно махнуть. А что, отпуск еще не брал, сейчас, в конце сентября, на Кавказе идет хорошая кефаль, может встретиться и тунец. Решено, собираться не долго, заявление, отпускные — один-два дня. А пока...

И кидаюсь в кладовку, достаю свою подводную амуницию и начинаю возиться с ружьем.

«Брюки,— думаю я,— и куча чего еще. Звонок — и бег. А на бегу партия в теннис: вопрос — ответ, вопрос — ответ, ты меня любишь — да, ты меня любишь — нет,

да сколько можно, да ведь действительно — уже давно не мальчик, уже забыл, как и был-то этим самым мальчиком. А ведь чего только не натворил в свое время из-за нее, даже жениться хотел, отбить у мужа, разрушить счастливую семью, нет, к дьяволу, сколько можно, чертов гарпун, как он умудрился затупиться, лежа в кладовке? Где рапшиль, где напильники?»

А вообще Фудзияма — это, наверное, очень красиво. Один мой приятель был в Японии и рассказывал, что самое интересное там — сама Фудзи, когда ты смотришь на нее, пусть даже и с самолета. Я хотел бы побывать с ней в Японии, именно с ней, не пойму, что со мной, ведь так хочется освободиться от всего этого, но стоит лишь задуматься о каком-то конкретном шаге, конкретном слове, как все — «знаешь, я собираюсь в Японию».

Ведь и сегодня все так получилось именно из-за того, что уже неделю назад решил поставить точку. Всю неделю вел нескончаемые разговоры с ней, как бы готовясь к предстоящей встрече. Бродил по улицам и убеждал себя, что все, хватит, сколько можно продолжать эти непонятные отношения. Ну, было что-то, но у кого никогда не было подобного, так стоит ли ломать жизнь и себе, и ей, и ее мужу? Да и не пойдет она, никогда не пойдет на такое, впрочем, раньше, в самом начале, еще, пожалуй, могла, но сейчас... И я сворачивал на следующую улицу, потом на другую и все продолжал и продолжал этот выматывающий разговор с самим собой. К сегодняшнему утру все было решено, я ждал ее звонка как подарка, как манны небесной я ждал ее звонка, но вот он раздался, и что же?

— Знаешь, дорогая, я собираюсь в Японию!

С ружьем покончено, надо осмотреть гидрокостюм, проверить его, чтобы нигде не протекал, а то на море замаешься, напустить ванну, натянуть его и — в воду. Будто уже где-то возле Пицунды, а может, и южнее, еще не знаю, куда занесет... Кефаль, тунец — непонятной эк-

зотикой веет от этих названий, хотя ведь просто — рыба, белки, жиры, что там еще, углеводы?

Один раз мне удалось наблюдать потрясающую сцену. Тогда я охотился в Крыму, неподалеку от Гурзуфа. Время шло под вечер, плавал долго, но на кукане болталась лишь одна небольшая кефалишка. Я был без костюма, замерз и решил поплыть к берегу. Тут-то и встретил эту стаю — около двадцати самцов и одну самку, большую, килограмма на три. Они кружились на месте, иногда два, а то и три и даже четыре самца одновременно подплывали к большой рыбине вплотную и начинали тереться о нее, а она переворачивалась кверху брюхом, медленно изгибалась, будто отдаваясь странному, непонятному мне ритуальному танцу. Это были их брачные игры, я не стал стрелять, а просто понаблюдал за стаей, затем развернулся и поплыл к берегу. Несколько раз пытался рассказать об этом, но всегда оказывалось, что нам некогда — надо говорить о чем-то другом, бежать куда-то не туда...

Я прощупывал гидрокостюм и вспоминал эту стаю, зеленоватую мглу, длинные пряди водорослей, что росли на ближайшем камне. «Жаль, что ее не было тогда со мной, — думал я, — может, все получилось бы по-другому и не было бы сегодня, не было бы этого дурацкого разговора про путешествие в Японию».

Звонок, не телефонный, в дверь. Ничего не поможет, ничего уже не поможет...

- Так ты куда это собрался?
- Как видишь, на подводную охоту.
- В Японию?
- На Кавказ...
- А врать-то зачем?
- А я не врал, я просто передумал.
- Господи!..

- Мы все же поедem в Японию?
- Это очень дорого.

— Ну и что, накопим и поедем, у меня страховка скоро...

— Поедем, родная, поедем, а теперь спи.

— Расскажи мне про Фудзияму...

ЗАВТРА ПОДУЕТ ЛЕВАНТ

Звонок раздался уже где-то под утро, он проснулся не сразу, а проснувшись, нехотя и лениво потянулся за трубкой. Но буквально через мгновение голос его стал жестким, и вот он уже на ногах, и слышен шум душа, на кухне зажигается свет, вспыхивает газ, а он уже снова в комнате — брюки, свитер, торопливый поцелуй в щеку — дождись меня, родная, обязательно дождись! — и выключен газ, погашен свет, захлопнута дверь, а до рассвета еще больше часа и можно вновь свернуться под одеялом, свернуться, забыться, уснуть...

Вечером, в небольшом баре на набережной этого маленького приморского городка он долго смотрел на нее, сидящую у стойки рядом с каким-то незнакомым ему парнем, — как они меланхолично перебрасываются фразами, как она лениво допивает кофе, а он так же лениво дает ей сигарету, смотрел и удивлялся тому, что она почти не изменилась за эти годы, может, это было просто трудно заметить, но он сидел, смотрел и думал, что — господи, сколько прошло-то, пять лет, шесть? — эта женщина была для него всем, и, когда случилось то, что должно было случиться, не могло не случиться, он чуть было не сошел с ума. Но как хорошо, что в такие вот истории всегда вмешивается подобное «чуть» и можно жить, и если не жить, то хотя бы существовать — год, два, столько, сколько отведено.

Существовать же ему не хотелось, и он бросил все: работу, дом, возможную квартиру — и перебрался в эти края, сначала в город побольше, а потом осел здесь, где жизнь шла лишь летом, когда сезон, но ведь есть море, а его он любил всегда. Сперва он работал на причале, потом стал спасателем, а затем случилось нечто, очень странное для него самого. Как-то раз, ясной августовской ночью, полной звезд и цикад, всей этой летней, южной, приморской лабуды, он вдруг проснулся и понял, что — может — ему и не стоило забывать тот город и ту женщину. И он встал, сел к столу, достал школьную тетрадку в клеточку и попытался вспомнить. Он вспоминал ее голос и руки, вспоминал ее тело и походку, улицы, по которым они бродили, квартиры друзей, где иногда находили приют, вспоминал их ссоры и примирения, он попытался восстановить весь тот уже далекий, безумный, покрытый паутиной времени год, а когда понял, что все — вспоминать больше просто нечего, то было утро и прямо в окна его небольшой, однокомнатной халупы плескалось море: совсем ведь недалеко, метров двести, если по прямой...

...Он греб в своей лодке с надписью «Спасатель-1» на борту, кричал что-то в мегафон купающимся, но все равно был там, в том городе, на тех улицах, хотя вспоминал уже о другом, совсем о другом. И снова была ночь, и другая чистая тетрадка в клеточку, и опять до самого утра он странствовал по путям своей памяти, а на другой день на пляже, с какой-то странной, не свойственной ему робостью, отдал обе тетрадки одному своему летнему знакомому, вроде как писателю, что отдыхал в местном доме творчества.

И случилось то, что так редко случается: то ли день был очень хорошим, добрым, то ли еще что, но человек этот вдруг поверил в него и помог напечатать оба рассказа. И он бросил работу и стал писать, днем и ночью, круглые сутки. Через год областное издательство выпустило

его первую книгу, сейчас готовилась вторая, больше, намного больше, а он сидел в баре и смотрел на женщину, что вновь пришла к нему однажды августовской ночью и научила вспоминать.

Из колонок звучала какая-то необязательная музыка, дергались немногочисленные пары, и он подошел к стойке и сел рядом с ними — женщиной, которая была когда-то для него всем на свете, и ее приятелем.

— Как обычно? — спросил бармен Сережа.

— Как обычно, — ответил он.

Женщина повернулась на голос, и он увидел, что она действительно мало изменилась, и вдруг подумал, что, может, этими воспоминаниями хотел добиться лишь одного: чтобы хоть раз в жизни еще увидеть ее.

— Это ты? — спросила женщина.

— Привет! — ответил он так, будто ничего и не случилось, да ничего и не было, просто двое случайных знакомых, внезапно встретившихся в маленьком баре небольшого приморского города.

— Прости, — сказала она своему приятелю, — это мой давний друг, я бы хотела поговорить...

— Конечно, — ответил тот, — ты когда придешь?

— Я недолго...

Они шли по набережной, было темно, над морем висела луна, бросая на воду длинную расплывчатую дорожку.

— Так вот ты где? И давно?

И он стал рассказывать о себе и о том, как жил все эти годы, он говорил, не чувствуя волнения или какой-то приподнятости, неторопливо, может быть, даже нехотя. Сам он понимал одно: воспоминания — вот что было явью, истинной реальностью, но ведь они никуда не ушли, мало того, они тиражированы и стали достоянием тысяч. А эта женщина, что идет сейчас рядом, — просто какая-то грань тех воспоминаний, и даже странно, что именно она пробудила их.

- Ты думал обо мне хоть изредка, скажи правду?
- Конечно, еще как.
- Хочешь, я пойду к тебе?
- А он?
- Ну и что...

И они пошли, ведь всего-то двести метров, вот набережная, а вот и дом. Но пока они шли, вдруг что-то изменилось, что-то очень неуловимое, но от чего так много зависит. Ночь вновь стала принадлежать лишь им, как много лет назад, и он понял, что лгал себе все эти годы и весь этот вечер, что действительно — только эта женщина была для него единственной на земле, а тогда он просто испугался, испугался и сбежал, хотя это и сделало его писателем. И когда они легли в постель, то все стало еще лучше, чем раньше, ибо они оба действительно любили друг друга. Они почти не спали, она положила голову ему на плечо, а он говорил, что вот сейчас-то он уже точно никуда не отпустит ее, что сейчас все станет совершенно по-иному, ведь они оба стали другими, но лучше, он уверен — только лучше. А она смеялась и плакала, и они любили друг друга, а потом снова начинали говорить и наконец заснули где-то под утро, и где-то под утро, за час до рассвета, раздался телефонный звонок. Он встал, оделся и ушел, поцеловав ее в щеку и сказав: «Дождись меня, родная, обязательно дождись!» — и она опять свернулась под одеялом и уснула, а проснулась лишь тогда, когда в дверь зазвонили. Требовательно, еще более требовательно, чем по телефону под самое утро.

Она накинула его халат и открыла дверь. На площадке стояло несколько человек. Один из них почему-то держал в руках мокрый свитер, и она вдруг закричала, а потом перед глазами поплыли пятна. Красные, желтые, белые, зеленые. Они плыли и плыли, пока, наконец, не превратились в какой-то огромный, крутящийся волчок.

...Они шли по набережной, на душе у всех было пас-

кудно и хмуро, не хотелось смотреть на отдыхающих, на синее море и такое же синее небо.

— Не надо было звонить,— сказал один,— ведь он давно уже не работал.

— Сам знаешь, что нас и так сегодня не хватало.

— Чертовы яхтсмены, недоумки долбаные! — выругался тот, что был повыше.

— Кажись, завтра подует левант,— заметил первый.

БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

С утра я понял, что вообще ничего не хочу. Нет, это не была просто лень, как всегда, когда приходится покидать нагретую за ночь постель и плестись в душ, с тоской думая об ожидающем дне с его грядущими то приятностями, то неприятностями, но в любом случае — с некоей суетой, от которой любой день, будучи даже выходным, никогда не застрахован. Не было это и хандрой или предчувствием каких-либо неожиданностей, я прекрасно осознавал, что все будет так, как и должно: пройдет минута-другая, я все же встану и пойду в душ, проведя в нем минимум пятнадцать минут, и, надев халат, пройду на кухню, где поставлю на две зажженные конфорки газовой плиты джеззу под кофе и кастрюльку с водой под сосиски. Параллельно я буду слушать радио: последние известия, вначале по нашей стране, затем — то, что случилось за рубежом, и вновь по нашей стране. К этому времени сосиски уже будут сварены и съедены, а кофе я пойду пить в комнату, которую — судя по ситуации — называю то спальней, то кабинетом. В данный момент она превратится в кабинет, и я буду пить кофе, курить, смотреть в окно и слушать музыку. Пятнадцать минут музыки каждое утро, желательно чего-нибудь тя-

желого, из времен поздней юности, чтобы ритм покруче, да зажигательный, распаляющий голос, это, да еще душ, да еще кофе — заменит, на мой взгляд, любой комплекс утренней гимнастики. За эти же пятнадцать минут надо одеться, привести себя в надлежащий вид, цивилизованность которого зависит не только (а точнее говоря — не столько) от погоды, сколько от моего представления о себе в это утро. Можно надеть джинсы и свитер, можно джинсы и пуловер с рубашкой, а можно тройку с галстуком или — что лучше всего — с шейным платком, который — опять же от моего настроения — может быть черным, красным или синим, но никак не иного цвета. Остается совсем немного: собрать кейс, вымыть пепельницу, налить молока кошке, надеть нечто верхнее (судя по сезону), закрыть дверь на ключ и влиться в поток фигур, торжественно и собранно шествующих на автобусную остановку. На часы можно не смотреть, я все знаю и так — интервалы между автобусами около двух-трех минут, надо подгадать, чтобы сесть в не очень переполненный, и тогда можно почитать, ибо данным видом времяпровождения я сейчас, в основном, занимаюсь именно в общественном транспорте. До моей остановки я успею прочитать минимум пятнадцать страниц, что не очень плохо, а если днем мне предстоят какие-то служебные выезды (опять же — на общественном транспорте), то к вечеру количество страниц может дойти до шестидесяти, а то и больше, хотя такое случается нечасто. Собственно, работа начинается в девять, но в кабинете можно появиться в девять с минутами, так как я все равно приду первым, — не знаю отчего, но так уж повелось, ведь работаю я исключительно с женским контингентом, а он начнет появляться ближе к половине десятого. За это время я налью в чайник воды, подключу его в сеть и сделаю несколько звонков того характера, который называют частным: ведь не у всех дома есть телефоны и не всем я могу звонить по вечерам. К тому времени, когда я окончательно сплани-

рую день, появятся дамы, и я удалюсь в коридор покурить минут на десять: надо же дать им возможность привести себя в порядок. А затем все мы положим на стол бумаги и углубимся в них, но точно можно сказать, что этот пароксизм рабочего рвения пройдет к одиннадцати, когда наступит время общего чаепития, а первый визит шефа с проверочной миссией уже будет позади. Так что можно пить чай и обмениваться новостями, которые, как правило, заключаются либо в светских сплетнях, либо в обмене культурной информацией (если это так можно назвать), либо — что естественно — в рассуждениях на сердечные темы, хотя почти все дамы, с которыми свела меня судьба в одном кабинете, очень неплохо устроены в жизни, но — по всей видимости — без подобных разговоров они просто не могут. Затем на столах опять появятся бумаги, но их будет уже поменьше, ведь время неумолимо приближается к обеду, и — если в этот день я в шейном платке — я поправлю его уже несколько раз, полюбовавшись при этом на себя в зеркало. В обед все разбредаются кто куда, я же просто иду пить кофе с бутербродами, а потом, если позволяет погода, сижу оставшееся время где-нибудь на лавочке, вполне возможно, что и с книжкой, если, конечно, для этого есть настроение, но его, как правило, не бывает, ибо мозг мой давно уже соображает довольно туго: тридцать с гаком — это не двадцать и привычка читать книги — не более чем привычка, честно говоря, и музыку-то я слушаю большей частью по той причине, что это способ деятельности пассивной, точнее даже не деятельности, а восприятия, а именно такой способ устраивает меня сейчас больше всего, он не просто удобен, он где-то просто потрясающ по способности взаимодействия с миром. Ведь я могу даже не заводить романов, зная по собственному опыту, как это хлопотно. Нет, романов заводить мне просто не имеет смысла, ведь я могу сидеть на лавочке, ожидая, пока кончится время перерыва, и смотреть на мимо проходящих

девиц, прекрасно представляя, что каждая из них могла бы мне дать, окажись мы в одной постели. И это вовсе не означает, что организм мой не требует своего, нет, по утрам иногда просто хочется на стенки лезть, но это лишь до той поры, пока я не пойду в душ, точно так же, как сейчас (если принять за факт, что это действительно сейчас) мне надо встать со скамейки и идти на работу, в комнату, заставленную письменными столами, на которых аккуратно разложены бумаги, а на одном стоит старая пишущая машинка, которой редко кто пользуется, и поэтому лента на ней не менялась уже неизвестно сколько времени, а шрифт давно не числится, хотя лак с ногтей мои дамы явно смывают каждый день.

Бывает так, что иногда возникает просто непреодолимое желание немедленно же обзавестись плеером. Ведь он такой маленький, его можно было бы положить в выдвижной ящик стола, а наушники приспособить как-нибудь так, чтобы их не было видно, а звук был бы слышен. Это решило бы для меня сразу же множество проблем, по крайней мере, мое взаимодействие с каждодневной реальностью от этого бы только выиграло, да, наверное, повысилась бы и служебная работоспособность: ведь плеер стал бы той моей маленькой тайной, которую надо сохранять от всех, мне пришлось бы хитрить, изворачиваться, думать, главное, что думать, а не механически выкладывать бумаги на стол, прочитывать свои двадцать, тридцать, шестьдесят страниц в день, есть, отправлять физиологические надобности, одеваться, раздеваться, ездить в общественном транспорте, слушать разговоры коллег по работе, в общем, делать то, что я делаю каждый день и от чего иногда просто хочется взять и разнести что-нибудь к чертовой матери: порою бывает желание высадить окно в комнате, а порою — запустить пишущей машинкой в самую очаровательную из наших дам, к которой, честно говоря, я отношусь очень неплохо, принимая во внимание ее человеческие качества, ибо как женщина она меня

абсолютно не интересует и никогда не снилась мне под утро. Но я прекрасно понимаю, что эти мои желания идут вразрез с моими же принципами пассивности, нежелания перегружать ни тело, ни мозг какими-либо активными действиями. Но что-то ведь надо делать, что-то, ради чего вроде бы я и появился на этот свет. Неужели только ради того, чтобы вставать, идти в душ, завтракать и прочая, прочая, прочая, а потолок почему-то все снижается и снижается, и это напоминает мне какой-то из тех чудных рассказов, что я читал давно, еще в детстве, только там дело было не в потолке, а в колоде и маятнике, но разница тут не суть, ведь есть снижающийся потолок и есть я, который лежит на кровати и понимает, что ничего не хочет, вообще ничего, ибо чтобы хотеть, надо знать — зачем, а именно в этот-то вопрос все и упирается. Если бы я мог сойти с ума и начать собирать марки (к примеру), то все было бы гораздо проще. Как-то я даже задумался над тем, не заняться ли мне каким-нибудь коллекционированием, но понял, что если что и стал бы собирать, так только раковины, а до ближайшего моря от города, где я живу, три часа лета, да в море том водятся лишь рапаны и такая же, мало интересующая меня ракушечья чешуя, так что на занятиях конхиологией мне пришлось сразу же поставить крест, а значит пришлось поставить крест и на мысли о том, чтобы сойти с ума, хотя само по себе это было бы довольно забавно: я и вдруг — сумасшедший, ведь все, кто когда-либо общались (да и общаются) со мной, прежде всего отмечают трезвость мышления, рассудочность, даже некоторую чопорность, хотя сам-то я знаю, что все это внешне, но вот только молчу, да и кому мне обо всем этом сказать?

Надо вставать, я уже пролежал на пять минут больше положенного, а это значит, что надо на пять минут сокращать или душ, или завтрак, или музыку. Но мне не хочется ни того, ни другого, ни третьего, видимо, я просто приду на работу не в девять часов пять минут, а в девять

часов десять минут, от чего, честно говоря, ничего не изменится, как не изменится ничего вообще. Ничего, нигде, никогда, нигде, никогда, ничего, никогда, нигде, ничего — сколько, интересно, еще комбинаций можно устроить из этих трех слов, да и имеет ли смысл составлять эти комбинации?

Но может быть, сегодня что-нибудь произойдет? Может, я куплю раковину и приглашу к себе вечером домой ту самую даму, в которую мне порой хочется запустить пишущей машинкой? А может, займу двести рублей и куплю плеер, заведу свою маленькую тайну с тихо играющей музыкой? А может, пойду на работу просто в тройке и без рубашки, жилетка на голое тело и все? Пора вставать, уже действительно пора вставать, от этого мне никуда не деться, хотя еще с самого утра я понял, что вообще ничего не хочу, ведь день этот ничем не будет отличаться от того, что был вчера и что будет завтра. Хотя тут я не прав в одном. Номер на абонементе, который я пробью, когда сяду в автобус, явно будет другим. Номера — они меняются постоянно...

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Во дворе играют в футбол. Фраза эта пришла мне в голову еще вчера вечером, но действительно — каждую субботу и воскресенье в нашем дворе, а точнее говоря, на маленьком квадратике корта, что расположен как раз между моим домом и помойкой, ребята из соседнего общежития играют в футбол, и им все равно, какая погода — снег ли, дождь, а может, жаркое июльское солнце или просто апрельская смурятинка, когда нет ни снега, ни дождя, ни солнца, а есть некое нечто, что обволакивает тебя наподобие тумана, хотя это, конечно, и не туман...

Во дворе играют в футбол. Слышны громкие, отчетливые удары по мячу, слышны крики играющих — да даже не крики, просто оклики и возгласы, и снова удары — громкие, отчетливые, а потом дружный, восторженный рев: кому-то забили, но вот кому?

Я жду звонка. Звонка, который — вполне возможно — перевернет все мое, вполне безмятежное до этого дня существование, который может сорвать меня с места и бросить на другой конец страны, за тысячи километров от города, где я родился, где родились мои дети и в котором я живу по сей день. У каждого из нас, живущих, бывают такие моменты, когда вот-вот да произойдет что-то такое, что перечеркнет все, что было, а то, что будет — еще за гранью, ты не просто не знаешь, ты даже с трудом догадываешься, что же это будет, но это не значит, что ты не ждешь этого... Окна распахнуты на улицу, слышны удары по мячу, телефон же молчит, и мне только и остается, что бродить по квартире да изредка посматривать на него, будто от моих взглядов звонок раздастся быстрее, хотя где гарантия, что он вообще зазвонит? Впрочем, можно включить телевизор, и тогда время побежит быстрее, еще можно просмотреть свежие газеты, хотя то, что делается в мире, отнюдь не настраивает меня на оптимистический лад, так что газеты остаются на столе нетронутыми, а телевизор начинает тихо гудеть, затем раздаются позывные передачи «В мире животных», и вот уже на большом цветном экране под жарким африканским солнцем по выжженной им саванне бегут наперегонки с антилопами гепарды, будто играя в какие-то странные звериные пятнашки, а я пристраиваюсь на тахте и закрываю глаза...

...Ты помнишь, как мы гуляли по парку? Шумело море, море шумело, и плыли, плыли восторженные южные облака... Да нет, облака были не южными, это были облака над городом, что лежит на сопках, белый, ослепительный город, пропахший солью и памятью, а также пе-

чалью и какой-то спокойной, безмятежной тоской. Почему? Отчего? Может, потому, что ты взбегала по лестнице и долго звонила в нашу большую, тяжелую дверь, а я все не решался подойти и открыть, ибо знал, что тогда — о, точно! — тогда что-то случится, и небо рухнет на город, а оба залива выйдут из берегов, и обнажится дно у бухты Золотой Рог, по которой постоянно бегают такие веселые и разноцветные кораблики, похожие на те, что рисуют в детских книжках, хотя — на самом деле — суда эти намного грузнее и обшарпаннее, ведь их задача не ублажать детскую фантазию, а работать, давать стране товарооборот и валюту... А когда ты спускалась по лестнице медленно, тяжело, будто целая жизнь за плечами, а не какие-то пятнадцать лет, и хлопала дверь из подъезда, то я выходил на балкон и смотрел вслед: сопки, облака, узкие улочки, порою даже не покрытые асфальтом, а просто мощенные брусчаткой. Как раз по одной из таких улиц мне надо было идти к школе; маленькое, трехэтажное здание, стоящее чуть в глубине, в окружении дальневосточных акаций и еще каких-то странных, давно уже позабытых мною деревьев, от которых обычно была черная, глубокая тень, в которой так просто можно спастись от ослепительного приморского солнца и высокого, до неприличия голубого неба... Но ты приходила снова, почему ты каждый раз приходила снова, а я все боялся открыть дверь, хотя родителей не было дома, и то, что могло ждать меня, было так обыденно для всех моих сверстников? Ведь ничем остальным я не отличался от них, ведь точно так же мог перемахнуть портовую ограду и затеряться в мешанине складов и пакгаузов, еле успевая выскользнуть из-под очередного электрокара, везущего штабеля ящиков с экзотическими наклейками... Гонконг? Сингапур? Йокгама? Гудки на рейде, с набережной доносится музыка, красивые парни в форме курсантов военно-морского флота танцуют с красивыми девочками, затянутыми в тогда еще новомодное джинье, с вышек для ныряния, что

аккуратным частоколом идут по берегу пляжа, бросаются в воду маленькие, распластанные фигурки: кто ласточкой, а кто и солдатиком... Идешь, переступая загорающие тела, подгоняемый музыкой и бризом, там, за горизонтом, Япония, там невидимая линия экватора, диплом о переходе через который висит в кабинете твоего дяди, капитана дальнего плавания, давно уже, впрочем, забывшего, что это такое — ощущение палубы под ногами... А воздух настоен на соли, как все же воздух здесь настоен на соли и йоде; когда сбегаешь с уроков и проходишь те три квартала, что отделяют от моря, то именно по этому запаху ощущаешь демаркационную линию, за которой и лежит та свободная территория, тот фронт, который не дает ничего, кроме освобождения не от школы, не от взрослых, от тебя...

...Гепарды исчезают с экрана, как исчезают с него и антилопы. Сейчас на нем мельтешит какая-то мелюзга: бурундучки, ласки, мелкое, симпатичное зверье. Голос ведущего рассказывает о их житье-бытье, а за открытыми дверями балкона слышны удары по мячу, там все еще играют в футбол, и все еще нет того телефонного звонка, что жду все утро, звонка, от которого может измениться вся моя жизнь и который может забросить меня далеко-далеко от города, где я живу и где родились мои дети...

...Так ты помнишь, как мы гуляли по парку? Нет, это не иллюзия и не обман памяти, это действительно было, и медленно крутилось гигантское колесо обозрения, «чертово» колесо, как называли его раньше. Сам же парк уступами спускался к набережной, и, сидя в кабинке колеса, можно было отчетливо слышать доносящуюся с нее музыку: что-то расхлябанное, легкое, танцевальное, что-то такое, что не будоражило душу и сердце, а просто дарило некую безмятежность и легкость, да даже не легкость — легкомыслие, так будет гораздо точнее. И так же легкомысленно кружились пары, и так же легкомысленно крутилось колесо обозрения, и мы сидели в одной кабинке,

держась за руки — маленькие, потные ладошки, напряженные, будто ожидающие чего-то жестокого, лица, а там, под нами — парк, зачерненный нависшим над городом вечером, но чернота эта мнимая, она пересекается огнями: горящие окна, горящие рекламы, фары проносящихся машин, залитый прожекторами рейд, только вот отчего так потны наши ладошки, неужели от того, что я никак не могу собраться духом и открыть дверь на твой звонок, ведь я жду его каждое утро, ведь в школу-то нам со второй смены, а родителей нет дома, и пуста лестничная клетка, и никто не увидит, кто звонит в дверь?

А вчера я заметил тебя на набережной, ты была там с этими молодыми, красивыми ребятами в отлично отутюженной форме будущих флотских офицеров, ты танцевала с ними, море слепило глаза, сказочные, нереальные облака бежали по небу, Гонконг, Сингапур, Йокогама, брось, не обращай внимания, они все такие — так сказал мой друг, с которым мы пошли на берег и завернули по пути на танцевальную площадку, след от которой давно уже растворился во мраке времени, оставив лишь маленький скол в моей памяти, как оставили в ней след и набегавшие на мельчайший береговой песок волны, напоминающие ласковые, шершавые язычки... Как-то раз, когда ты ушла с пляжа, оставив после себя в песке вмятину — полный контур тела, вот бедра, вот ноги, вот грудь, — я лег в нее и уткнулся лицом в песок, горячий и соленый, пахнущий тобой и морем... Брось, брось, ты видишь, что ей хорошо, что она танцует, танцует, танцует... И ты действительно танцевала, с упоением, с восторгом, с непосредственностью своих неполных шестнадцати лет. С такой же непосредственностью ты подкарауливала меня в темных уголках школы, припирала к какому-нибудь углу или стенке и начинала нести всякую околесицу, будто издеваясь над моей робостью и несмелостью, над тем, что я никак не могу собраться с духом и открыть дверь, большую, двустворчатую, как раковина морского гребешка,

которую даже ножом не всегда просто открыть. Гребешки лучше просто запекать в костре, зарываешь в уголья и ждешь, пока они не раскроются сами, и тогда ешь горячее, сладковатое, хорошо пропеченное мясо, которое почти так же вкусно, как мясо крабов... Но что было бы, если в один прекрасный день дверь все же отворилась бы и ты вошла в наш длинный, солнечный коридор, вторая дверь из которого — налево — вела в мою комнату, в которой стоял старенький письменный стол, стеллаж с книгами да кровать? А на стенах висели фотографии, конечно, это были «Битлз», да еще Элвис, да еще кто-то, кого я уже не помню... И была еще твоя фотография, аккуратно вырезанная из группового снимка нашего класса, фотография-медальон, так она называется по преysкуранту фоторабот. Ее я держал в одном из ящичков стола, упаси господь, если кто-нибудь узнает, ведь засмеют, не дадут проходу, будут показывать пальцем, ведь все знают, что ты якшаешься с молодыми и красивыми парнями в красивой форме с золотыми шевронами и что ты вообще — сорвиголова...

Звонок. Наконец-то. Да-да, это я... Да, слушаю... Через неделю? На месяц? Прекрасно... Море теплое? Конечно... Конечно...

...Меня будут встречать на машине. Она мягко тронется с места и помчится по прекрасному шоссе в город, минуя сопки и синий лоскут моря, а потом въедет в город, который обступит дорогу своими многоэтажками, в одной из которых все еще живет твой дядя, капитан дальнего плавания, неоднократно пересекавший экватор, хотя с тех пор и прошло уже очень много времени... Гонконг, Сингапур, Йокогама, набережная, ласковая гладь залива, воздух, настоенный на соли и йоде, улочки, спускающиеся к берегу, где асфальтовые, а где все еще покрытые брусчаткой. Я пройду мимо своего дома, он тоже бел, четыре этажа, рельефная резьба, тяжелые двери в подъезд, за которыми лифт, что может поднять тебя на

четвертый этаж. На площадке всего две квартиры, до крайней мере, мне помнится именно так. И совсем недалеко до парка, стоит лишь пройти мимо здания университета, завернуть за угол и спуститься вниз... И все так же по небу будут бежать сказочные, нереальные, будто вырезанные из папиросной бумаги облака, белые-белые в этом до безумия синем небе, синем, как море, как мои сны... Я найду какое-нибудь открытое кафе на набережной, закажу себе кофе и буду сидеть и смотреть на залив, на далекую линию горизонта, за которой Япония и весь остальной мир, буду сидеть, пить кофе и смотреть, а потом пойду на пляж и попытаюсь отыскать отпечаток твоего тела, все как полагается — бедра, грудь и ноги, и буду дышать этим воздухом, а потом махну куда-нибудь на катере, в какую-нибудь дальнюю бухту в окружении сопок и этого чертового неба, при одном взгляде на которое меня разбирает тоска, слишком уж оно нереально, да и вообще — было ли все это?

Гудят суда на рейде Золотого Рога, давно уже снесли нашу с тобой школу и на ее месте большой, широкий проспект с движением в несколько рядов. Нет, действительно, надо найти какую-нибудь забегаловку и выпить чашку-другую кофе, дожидаясь темноты, которую моментально разрушат светляки окон, реклама, свет портовых прожекторов да фары проносящихся авто. И вот тогда-то я встану и пойду на набережную, на которой уже давно нет танцплощадки, но все так же кружатся пары, красивые парни и красивые девчонки в отблесках такого красивого солнца, проваливающегося в море... Кружатся пары, кружатся пары, крутится колесо обозрения...

А во дворе все еще играют в футбол. Впрочем, фраза эта пришла мне в голову еще вчера вечером.

ПО МЕТЕОУСЛОВИЯМ

Похолодало внезапно и сразу, хотя еще с утра можно было обойтись не то что без пальто или куртки, но и в пиджаке было жарко, хорошо, что куртка не занимает много места, и я всегда вожу ее с собой, так что в первые же минуты, как потянуло северным ветром (в это время я стоял в очереди на экспресс, который должен был довести меня до аэропорта, где на летном поле меня уже ожидало серебристое неуклюжее чудовище, та волшебная палочка, тот магический жезл, по одному мановению которого я оказался бы в другом месте и в другом времени), я упаковался в свой нейлон с меховой подбивкой, поудобнее пристроил сумку и стал ждать того момента, когда подойдет моя очередь и я смогу тихо и спокойно поглядывать в большое окно «Икаруса», и все так же тихо и спокойно будут проплывать чуждые моему глазу, воспитанному на совершенно иных пейзажах, черные, оголенные поля с березами, насаженными по обочинам...

...Пожалуй, единственный аэропорт, из которого я люблю уезжать или в который — соответственно — приезжать, так это Симферопольский. И дело даже не в том внутреннем напряжении, что охватывает тебя сразу же, как только ты спускаешься по трапу и ловишь ноздриями горячий, влажный, обещающий нечто неведомое воздух с примесью ароматов гор, сосен и моря, нет, дело не в этом... Просто сама дорога из аэропорта на побережье — как путешествие по закоулкам собственных же детских снов, сколько бы раз ты ни совершал такую вот поездку, ты все так же смотришь в окно и все так же кровь твоя начинает гораздо быстрее циркулировать по всем этим венам, артериям и капиллярным сосудикам и все так же учащенно бьется сердце, хотя почему, отчего — знал бы я это! Но сейчас что и оставалось мне, так это смотреть на черные, оголенные поля да вспоминать дорогу из Сим-

феропольского аэропорта на побережье и думать о том, что будет лето и вот тогда... Да-да, вот тогда...

Впереди меня сидела какая-то парочка, то ли молодые, то ли просто влюбленные, хотя — честно говоря — не знаю, что заставило меня подумать именно так, ибо букет тюльпанов, что держала девушка, мог предназначаться кому-то другому, кто сейчас был еще в воздухе и скоро, совсем скоро должен был ощутить под ногами землю... Парочка о чем-то переговаривалась, тихо, вполголоса, так что вскоре я просто задремал под равномерное гудение автобусного мотора и под их голоса, хотя обычно я не сплю ни в автобусах, ни в самолетах, конечно, если не принимаю перед поездкой таблетку снотворного... В свое оправдание могу сказать лишь одно: дни, что провел я в этом городе, были насыщены деловыми встречами, а каждый вечер я проводил в большом и душном концертном зале на фестивале рок-музыки, на который, собственно говоря, и прилетел, оставив на время семью и рукописи, телефонные звонки и письма, которые ждали ответа... Фестиваль прошел не очень весело, но и не очень скучно, а деловых встреч было больше чем предостаточно...

Но все это уже в прошлом, все это уже там — за порывами холодного, северного ветра, который заставил меня надеть куртку и спокойно задремать в кресле шикарного экспресса, за окнами которого все так же проплывали черные, оголенные поля с березами, насаженными по обочинам. Где-то на полпути к аэропорту пошел снег, сначала редкими крупными снежинками, а потом повалил настоящий снежный заряд, и когда мы наконец вывалились из тепла в холод, то ничего уже нельзя было различить — ни шикарного нового здания аэровокзала, ни башенок с вращающимися на них локаторами, ни тех серебристых чудовищ, которые еще какой-то час назад казались мне волшебными палочками, теми магическими жезлами, которые и должны были перенести меня сов-

сем в иную реальность... «По метеоусловиям... Просим извинения... Рейсы на...»

Вообще я боюсь аэропортов, впрочем, как и вокзалов. Я сразу же теряюсь в этой безудержной сутолоке, мне всегда начинает хотеться лишь одного: найти местечко поукромнее и засесть в нем, будто в каком-то лесном схроне. Но все дело в том, что в аэропортах наших, впрочем, как и на вокзалах, местечек таких попросту не бывает, и мне пришлось пойти в единственное место, где я мог более или менее спокойно дожидаться какого-то определенного сообщения о моем рейсе... Ресторан был полон, но места все же еще имелись, и — по воле какого случая? — я оказался за столиком как раз с той самой молодой парой, что сидела впереди меня в автобусе. Они действительно были очень молодыми и — судя по всему — не молодоженами, не влюбленными, а братом с сестрой. Тюльпаны лежали тут же, на столике, безвольно поникшие в своей целлофановой упаковке, так странно смотрящиеся между чистыми и грязными приборами, блюдом с заливным, бутылкой шампанского и прочей ресторанной бижутерией, которая порою приводит человека в восторг, а порою и в отчаяние... «По метеоусловиям... Просим извинения... Рейсы на...» Они говорили о какой-то ее подруге, которая вот летит сейчас неизвестно где, а может, их самолет посадили в Москве или где-нибудь еще, и она не знает, что они вот сидят и ждут ее, а дома стынет обед, праздничный, который готовился все утро, и вообще — у нас не Аэрофлот, а сплошное безобразие, хотя какие могут быть претензии к снегу, ведь на то он и снег, чтобы идти тогда, когда ему этого хочется, но сейчас это уже не просто снег, это настоящая метель, и не стоит ли поехать в город, вот допьем шампанское, доедим свой жульен с грибами, а там посмотрим, ведь на вечер билеты в концерт, будет играть Спиваков, а его они оба любят, и жаль пропускать такое из-за какой-то подруги, хотя она и лучшая подруга, но ведь не обидится, ведь

поймет, адрес есть, доберется как-нибудь сама, а если метель станет сильнее, то и автобусы могут перестать ходить, хотя такого никто из них не припомнит, но ведь в нашей жизни все бывает, разве с утра можно было ждать именно такого, ведь светило солнце и было жарко, почти по-летнему, а сейчас... Да, всего можно ожидать в нашей жизни, но в меню есть салат из крабов, не стоит ли попробовать?

Я молчал и смотрел на тюльпаны, еще более безвольные, как бы надломленные таким печальным окончанием своей сегодняшней судьбы. Вообще-то к цветам у меня отношение сложное, гладиолусы, например, я терпеть не могу, то же могу сказать и о розах, но вот тюльпаны... А может, все дело просто в том, что когда-то у меня была знакомая, которой я всегда дарил именно тюльпаны — большие крепкие красные бутоны на ярко-зеленом стебле или же красные с черными или там белыми прожилками, но тюльпаны, и они стояли в тонкой хрустальной вазочке в изголовье ее кровати, и от них шел совершенно одуряющий запах, впрочем, давно это было и давно я уже не видел той своей знакомой, которая даже умудрилась стать моей женой и родить мне сына, пока не решила, что ей нужен другой муж, а ребенку — соответственно — другой отец... Но тогда я был просто помешан на ней и на тюльпанах, я даже начал читать все, что мог найти об этих цветах, и как-то раз наткнулся на стихотворение одной уже давно покойной американской поэтессы, которое так и называлось — «Тюльпаны»...

— ...По метеоусловиям... Просим извинения... Рейсы па...

«До их появления дышалось достаточно просто — вдох и выдох, один за другим, без задержки. И вдруг тюльпаны, как грохот, заполнили все... Стены, кажется, тоже приходят в волнение. Тюльпаны достойны клетки, как дикие звери. Они раскрываются, словно львиные пасти; И сердце в груди раскрывается и сжимается, Тоже

сосуд, полный красных цветов. Вода в стакане на вкус соленая, теплая. Она из морей, далеких, как выздоровление». «Да-да,— вспоминаю я,— она болела, и в ее изголовье стояли тюльпаны...» — По метеоусловиям... — Нам салат из крабов, пожалуйста... — Так все же, может, поедem домой? — Сейчас, рассчитаемся и поедem...

...Вылет нам дали часа через три, снег к этому времени идти перестал, а когда самолет прошел полосу облаков, то салон залило яркое, безмятежное солнце. Тюльпаны лежали в моей сумке, все такие же поникшие и безвольные, но не мог же я оставить их просто так, на столике в ресторане? А может, дело в чем-то ином, хотя бы в том, что сердце в груди раскрывается и сжимается, а вода в стакане на вкус соленая и теплая, и она из морей, далеких, как выздоровление?

РАЗМЫШЛЕНИЯ О КАТМАНДУ

Когда тебе порою приходится принимать то или иное решение, то ты подчас просто не знаешь, что повлечет оно за собой, как не знаешь этого, к примеру, когда садишься в самолет и летишь — опять же к примеру — в Таллин, ведь самолет может даже не взлететь с полосы, заклинит какая-нибудь кнопка, и все, лишь маленький цинковый гробик с останками достанется твоей заплаканной родне... Но все это не значит, что принимать вот такие, порою просто спонтанные и необдуманные решения — удел людей недалеких, не умеющих планировать собственное будущее, хотя, если говорить честно, то планирование будущего — вещь вообще проблематичная, и лучше этим не заниматься, особенно в такой день, как сегодня, когда сентябрь уже чувствуется вовсю и зелень

листвы скоро сменится ее желтизной, а потом чернота оголенных ветвей и — что еще? — да, наверное, просто снег. Снег, и больше ничего...

...А из куколки, что была в небольшой баночке из-под майонеза, у меня сегодня вывелась бабочка. Обычная крапивница, совсем не то, что несколько лет назад, когда из такой же куколки, только побольше, вывелся махаон, как он подрагивал своими чудными ярчайшими крылышками, как ему не хотелось расставаться с этим уютным жильем — такой же баночкой из-под майонеза, ведь он, видимо, чувствовал, что за окном далеко не лето, а студеная, долгая, нудная уральская зима и ему не дожить до тепла и никто — вы понимаете! — никто не сможет восхититься этими его чудными крылышками, которые так роскошно смотрятся где-нибудь на юге, в районе, скажем, Никитского ботанического сада, хотя — если быть честным, — то махаоны попадались мне там гораздо реже, чем парусники-подалирии, от которых порою просто было некуда деться, целые разноцветные стайки вились над моим лежаком, будто это не что иное, как ожившая фантасмагория, одна из тех картин, что написана кистью художника-кудесника, хорошо знающего свой заветный «сезам»... Нет, совсем иная участь ожидала махаона, что вывелся в вечер под Новый год, да и скромная бабочка-крапивница: что будет с ней, какова ее судьба?

Но я отвлекся от того, с чего начал первый абзац... Ведь главная мысль в нем была та, что порою решения, принимаемые нами, приводят к тем последствиям, которых просто не ждешь, и дело здесь даже не в той бабочке-крапивнице, что совершенно случайно (кто мог хотя бы предугадать это?) вывелась из куколки в моем доме... Дело в другом, хотя бы в той же предполагаемой поездке в Таллин, пусть я прекрасно понимаю, что Таллин — это не Катманду...

А действительно, чего это ради мне так загорелось махнуть на другой конец страны? Экзотика? Шпили и

ратуша? Уютные кофейни и запах древней Европы? Что гонит человека, что заставляет его порою срываться с места и делать то, что еще вчера или позавчера было для него просто немыслимо, ведь любой из нас вставлен в круг определенных социальных обязательств, а выйти из этого круга, поступиться этими самыми обязательствами — значит поставить самого себя вне того стереотипного закона жизни, по которому и живут большинство людей на земле... Нет, нет, Таллин это действительно не Катманду, да и что, разве я никогда не слышал, как звучит орган?

...Шпили и ратуша, шоколадные гномики, которых мне привозили в детстве, узкие улочки, по которым бродили герои одной очень хорошей книги, хотя все это так, слова и метафоры, то есть не более чем попытка избавиться от собственной немоты, когда язык распух и присох к гортани, а вместо горла какая-то распухшая труба, из которой вместо членораздельной речи лезет сплошная каша... Да-да, НЕМОТА, вот как это можно назвать...

А все же кто из моих знакомых бывал в Катманду? В Таллине — многие, да и сам я как-то раз добрался почти до него самого, но Катманду — это ведь даже больший мираж, чем прекрасный махаон, что вывелся в вечер под Новый год, да и есть ли где-то действительно это самое Катманду, может, это не больше, чем все тот же мираж?

И НИКОГДА НЕ УДАТСЯ ПРОЙТИ ПО ДОРОГАМ НЕПАЛА!

А вот побережья поблизости от Таллина, оказывается, нет. Но меня это не страшит, как не страшит очень многое, да и что может заставить тебя бояться чего-то в сентябре, когда наступило бабье лето и лица у людей прощально красивы, ведь знают они, что вскоре всему этому придет конец и надолго, ой как надолго придется закутаться в шубы, в эти мертвые шкуры... Нет, ничего

не может страшить тебя бабьим летом, несется в лицо последняя паутина, мир притих перед зимней агонией, а билеты в Таллин продают в трансагенстве, и они есть, это мне сказали по телефону в справочном — такая вежливая, обаятельная женщина, судя по всему, лет тридцати с небольшим, хотя тут я могу ошибаться, но ведь не в этом суть, а в том, что билеты есть и будет вечернее здание аэровокзала, то лихорадочное состояние, которое всегда охватывает меня перед полетом,— может, с тех самых пор, как самолет, что вез меня в Москву, чуть не разбился при посадке, и тогда не было бы не то что этого рассказа, но и вообще ничего? А ведь было это в самом конце 1982 года, и я никогда бы не узнал, что звездные войны из киновоевика грозят стать реальностью, а время обладает удивительным свойством цикличности, и порою сам даже не представляешь, как одно неосторожное слово или не менее неосторожный поступок, давно, казалось бы, погребенные на свалке памяти, оборачиваются натуральными взрывами за настезь распахнутым окном, и где гарантия, что это просто взрывают гранит в близлежащем карьере, а не твое сердце? Да, странно подумать, но всего этого я бы мог так и не узнать, если бы шасси не вышло из-под крыла самолета в тот ненастный декабрьский вечер одна тысяча девятьсот восемьдесят второго года, когда аэропорт Домодедово был окутан туманом, почти таким же, как в Лондоне, в котором я тоже никогда не бывал, впрочем, как и в Таллине, как и в Катманду...

**ДА-ДА, Я НИКОГДА НЕ БЫВАЛ В КАТМАНДУ!
КАК И НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ БОЕВИКА ДЖОРД-
ЖА ЛУКАСА «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ».**

**Я ВООБЩЕ ОЧЕНЬ МНОГОГО НЕ ВИДЕЛ!
НАВЕРНОЕ, У МЕНЯ ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ...**

Но ведь суть-то действительно не в этом, а в том, что будет вечернее здание аэровокзала, стакан газированной

воды, который я — как правило — всегда выпиваю перед полетом, сигарета, торопливо выкуренная перед посадкой в автобус, что отвезет тебя к трапу, а перед этим еще и досмотр: что везете? И придется выкладывать из карманов металлическую мелочь, все эти брелоки и зажигалки, значки и сувениры, а серьезный человек в синей форме с пистолетом в кобуре будет смотреть на тебя строгими глазами, и только потом, совсем уже потом, уютно устроившись в кресле салона ТУ-154 (вот только «а» или «б», какие самолеты летают из моего города в Таллин?), я забуду этот строгий взгляд, откину спинку кресла и постараюсь заснуть... А кто будет сидеть рядом со мной, кто будет сидеть впереди и в кресле, что через проход? Да и почему меня так забавляют сейчас все эти мысли, сейчас, когда самое начало бабьего лета и солнце начинает петь себе отходную? А может, все это просто от того, что человек иногда предпочитает играть в прогнозы, моделировать некоторые ситуации, которые и обречены остаться моделями, не более? Модель Таллина, модель Катманду... Пирс, с которого можно бросать гальку в море, говор на чужом, непонятном тебе языке, вывески, которые просто невозможно прочитать, грань сна и яви, вот что все это такое, так, может, действительно было бы гораздо лучше, чтобы тогда, в тот декабрьский туманный день, шасси самолета так и не вышло, и наш «ТУ» вспорол бы брюхом бетонку домодедовской посадочной полосы, и красивое, очень красивое зарево развеяло — пусть на мгновение, пусть на чуть-чуть — тоскливый московский туман? Ведь тогда я был бы избавлен от очень многого, даже от того ощущения, что сейчас бабье лето и порою тебе приходится принимать те или иные решения, которые меняют жизнь полностью, да и бабочки, те самые, что вывелись в моем доме в баночке из-под майонеза, были бы живы и летали бы над прекрасными полянами давно уже не снящегося детства, а Таллин так и остался бы Таллином, но только для кого-то другого, не

для меня, а мысли о Катманду так и остались бы мыслями, но опять же — не моими, да и весь этот мир продолжал бы существовать, тихо, спокойно, независимо от того, что Джордж Лукас уже кончил съемки своих «Звездных войн» и дело осталось за малым, совсем за малым: чтобы киноигра обернулась реальностью и небо над головой бы грохнуло, как то бывает в самых жутких снах, когда уже ничего не помогает от укоров собственной совести...

НЕТ, ВИДИМО, МНЕ НИКОГДА НЕ ПОБЫВАТЬ В КАТМАНДУ...

...Шпили и ратуша, улочки, мощенные булыжником, шоколадные гномики, которых мне привозили в детстве; билеты есть, надо просто сесть на автобус и проехать до трансгагенства, а потом — о, потом будет все так, как я уже описал, хотя — уж если до конца быть честным — ну что мне этот Таллин, что я ему, да и потом — кто знает, но, может, действительно в тот уже давний декабрьский день шасси так и не вышло и брюхо «ТУ» все же вспоролло бетонку посадочной полосы? И сейчас не я, а кто-то совсем другой сидит за столом и выстукивает абзац за абзацем? Но я ему не завидую, я ему совсем не завидую, конечно, шоколадные гномики, булыжники мостовой и старая ратуша — все это прекрасно, но есть еще Джордж Лукас и «Звездные войны», да и бабье лето подойдет к концу, и снег, снег, снег...

НЕТ, Я ПРОСТО РАД, ЧТО МНЕ НИКОГДА НЕ ПОБЫВАТЬ В КАТМАНДУ!

ДА И ВООБЩЕ — ЕСТЬ ЛИ НА ЗЕМЛЕ ТАКОЕ МЕСТО?

НАВЯРЯД ЛИ КТО СКАЖЕТ МНЕ ЭТО!

Вот только отчего так мучительно хочется бросить камушек в балтийскую волну? На этот вопрос мне тоже вряд ли кто ответит, да и вообще — когда тебе порою

приходится принимать то или иное решение, то ты подчас просто не знаешь, что повлечет оно за собой. Но может, именно поэтому я до сих пор счастлив, что в тот давний декабрьский день наш самолет все же смог выпустить шасси, пусть даже аэропорт Домодедово был в таком тоскливом тумане, который мне больше никогда не доводилось видеть...

ЗАБЫТАЯ РАКОВИНА

Отчего именно в морозы, когда невозможно выйти из дому и остается лишь сидеть в стылом кабинете да смотреть в сиреневато-блеклое окно, вспоминается то, что в подобные дни кажется просто нереальным, к примеру — набережная небольшого курортного городка, и не какого-то конкретного — Гурзуфа, Мисхора, Алупки, — а небольшого курортного городка вообще, у которого не так уж много общего с реально существующими, но в твоей памяти, твоём сознании именно этот городок вообще столь зрим, столь осязаем, что кажется — дорогу в него ты найдешь и с закрытыми глазами!

...Каждый раз, лишь я оказываюсь на море, появляется ощущение, что времени как такового больше просто не существует, что оно, это время, застыло, и нет ни вчера, ни завтра, лишь сегодня, нежное, ласковое, как прикосновение руки. В таком состоянии просто невозможно поверить в существование подобных морозных дней, когда море воспринимается не иначе, чем иллюзией, трюком какого-нибудь заезжего фокусника, вынужденного демонстрировать свое умение не на цирковых подмостках, а в затхлом воздухе вагонного купе. Но тем-то, наверное, и ценна жизнь, что она дает возможность испробовать и то, и другое, понять возможность вечности

и понять такую же возможность ее физического конца для каждого из нас: сегодня все равно кончится, не будет моря, будут морозы, сиреневато-блеклое окно стылого кабинета, далекий голос в телефонной трубке, говорящий ничего не значащие слова, так точно накладывающийся и на этот день, и на этот мороз, и на это сиреневато-блеклое окно... Но стоит мне закрыть глаза, как я вижу набережную, крутой спуск к морю, белую пену прибоя — все это лубочно, все это слишком красиво для того, чтобы быть так, как есть, ведь на самом-то деле набережная грязная и полна шумных отдыхающих, крутой спуск к морю очень неудобен, а белая пена прибоя покрыта пятнами нефти и мазута... Ну да бог со всем этим, главное — закрыть глаза, и тогда можно забыть, что сегодня мороз, что далекий голос в телефонной трубке говорит ничего не значащие слова, чувствуется лишь теплый ветер, дующий с яйлы, да на лицо падает тень от закрывшего на мгновение солнце облачка, такого же прозрачного, как вода в аквариуме...

...А ведь я действительно вез домой раковину не какого-нибудь несчастного рапана, наподобие тех, что сам доставал со дна десятками, а самую настоящую тропическую каури, с яркими пурпурными точками, рассыпанными по перламутру изнаночной стороны, с крупными, шероховатыми завитками, с непонятно для чего предназначенными роговыми наростами, — не раковина, кусочек из иных сфер, осколок той жизни, которая никогда не коснется нас... Я держал ее в руках, большую, тяжелую, и думал о том, какой путь совершила она до того, как оказалась у меня. Кто поднял ее со дна, и в какой лагуне, на каком острове это было? Наверное, ветер шелестел листьями кокосовых пальм, коралловый песок резал белизной глаза, а смуглая фигурка ныряльщика отливала на солнце, как вырезанная из дерева статуя африканского божка... А потом эта раковина, среди множества подобных, была вывалена из мешка на рогожу в укромном

местечке тропического базара, и неведомый мне моряк купил ее, принес на судно, положил в чемодап, судно дало гудок и продолжило свой путь дальше. Куда? Может, сразу домой, а может, и к берегам другого континента, и не все ли равно — в Южную Америку или Австралию. Отчего-то мне милее Австралия, может, потому, что именно в Австралии находится Большой Барьерный Риф — ведь с самого детства это было именно тем местом, в водах которого я хотел бы закончить свой путь, куда хотел бы совершить свое паломничество. С годами все больше понимаешь абсурдность самой идеи этого, и слова Большой Барьерный Риф кажутся не чем иным, как магическим заклинанием из того мира, в котором не бывает тридцатиградусных морозов за окном и где нет стылых кабинетов, в которых сидят люди и пишут рассказы про забытые раковины, ведь это все иллюзия, не больше, ведь я даже не могу подарить ее никому из близких, ибо оставил на старом платяном шкафу в старой коммунальной московской квартире, буду ли я снова в ней, дождется ли раковина меня, да и можно ли будет придумать, кому ее в конце концов подарить?

...Немеет сердце, мороз все крепчает, красивый куржак выступил на ветках тополя за окном. Но все это означает одно: где-то действительно существуют острова с лагунами, на дне которых можно найти подобные моллюски-каури, да и мой выдуманный курортный городок — он тоже реален, он так же реален, как далекий голос в телефонной трубке и как то трехстишие Басэ, к которому написаны десятки томов комментариев, хотя о чем говорится в нем? «Старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Плеск в тишине». Но он реален, этот старый пруд, как реальна и светло-зеленая островная лягушка, как реален и всплеск в тишине затхлого осеннего вечера, нет, видимо, действительно и вчера, и завтра, и сегодня — лишь понятия, и время может застывать и становиться прозрачным, как вода в аквариуме, и тогда ты понимаешь, что Боль-

шой Барьерный Риф не выдумка, что он тоже реален и — кто знает, что еще будет? — может быть, все же удастся довести когда-нибудь свое паломничество до конца? Целая вереница небольших островков, цепочка одинаково спокойных лагун, там, на дне, прекрасные моллюски-каури, одни из самых красивых в мире, так, по крайней мере, говорится во всех пособиях по конхиологии... Ну а пока остается просто принять этот мороз за окном, этот куржак на тополиных ветвях, это сиреневато-блеклое окно кабинета и далекий голос в телефонной трубке, говорящий казенные, ничего не значащие слова...

СТАРЫЙ ПРУД
ПРЫГНУЛА В ВОДУ ЛЯГУШКА
ПЛЕСК В ТИШИНЕ
ЛАГУНЫ
КОРАЛЛОВЫЕ ОСТРОВА
МОЛЛЮСКИ КАУРИ
КУРОРТНЫЙ ГОРОД
НАБЕРЕЖНАЯ
СПУСК К МОРЮ
ЗАБЫТАЯ НА ПЛАТЯНОМ ШКАФУ РАКОВИНА
СТАРЫЙ ПРУД
ЛЯГУШКА

...Так можно до бесконечности, ведь все взаимосвязано, без одного невозможно другое, как без вчера невозможно завтра, а тем более сегодня, как невозможны друг без друга все люди на свете, пусть даже порою голоса в телефоне говорят казенные, ничего не значащие слова, это всего лишь одно измерение, а есть еще одно, и еще, и суть в том, чтобы не избегать их, а попытаться объединить в себе, и тогда кончатся морозы, сиреневато-блеклое окно станет радужным, а далекий голос в телефонной труб-

ке — нежным и трепетным, как флажок на ветру, пусть даже само это сравнение пришло мне в голову еще тогда, когда я даже не задумывался о подобных вещах... Да, да... Старый пруд... Прыгнула в воду лягушка... Плеск в тишине...

...А словосочетание «забытая раковина» просто отыскалось в моей записной книжке, где — среди множества телефонов — есть и те, что не имеют привычки отвечать, как есть и на самом деле старый платяной шкаф в одной московской коммунальной квартире, на котором я и оставил это чудо, ту самую раковину каури. Оставил и забыл, пока не начал перелистывать собственную записную книжку!

НЕ УПУСТИТЬ ЗМЕЯ!

Фонтан был в самом центре двора, именно был — с выложенной каменными плитами чашей, с зеленовато-металлической (бронза, медь?) рыбой, из пасти которой и била тоненькая струйка воды, растекаясь затем по этой самой чаше, выложенной каменными, потрескавшимися от времени плитами, пригнанными стык в стык, прохладный, уединенный (а как сказать иначе: навевающий уединенность?) фонтан, возле которого росли тополя, не один и не два, а целая группа: старые, узловатые, мощные тополя с раскидистыми кронами, которые никогда не подвергались стрижке, а пуха от них было столько, что летом (опять же — летом, ведь и фонтан, и тополя, и пух возможны только ЛЕТОМ, то есть ВНЕ снега, ВНЕ этой беспощадной круговерти ветра и колкости) он покрывал весь двор, и шаги прохожих становились вкрадчивыми, будто некие таинственные звери бесшумно вышли на охотничью тропу...

Зеленовато-металлическая рыба, из пасти которой бьет тоненькая струйка воды, овальная чаша, выложенная каменными плитами — как назвать это, как определить в собственных воспоминаниях, да и воспоминания ли это, может, просто некие разрозненные картинки, запечатленные в особых клеточках мозга, остатки прошлого, хотя кто может доказать, что именно оно — прошлое — есть?

ФОНТАНЫ РАЯ. НО ТОГДА Я ЕЩЕ НЕ ЧИТАЛ АРТУРА КЛАРКА!

Подъезд же наш был темным и гулким, больше всего он походил на винтовую лестницу, примерно такую, какую я видел много лет спустя в одной из пограничных азербайджанских крепостей, а точнее говоря — в той местности, которую долго называли северным Ираном: безжизненно-синее небо, земля жженой кости, вертикаль горизонта с вкраплениями нефтяных качалок-коромысел, впрочем, это уже слишком далеко от нашего подъезда и лестницы, напоминающей винтовую, лестницы с низкими потолками пролетов и выщербленными ступенями, но как легко было сбегать по ней во двор, к фонтану, к группе тополей, к куче наваленного свежего теса, за которым располагались гаражи, забравшись на которые, можно было смотреть в небо — летнее, солнечное, с изредка набегающими облачками, с самолетами, летящими по своим, неведомым нам делам...

— Ты хочешь стать летчиком?

— А зачем?

— Можно улететь далеко-далеко, ведь небо такое большое, ведь у него нет ни конца, ни края, а самолет сам выбирает свой курс!

— Лучше держи прочнее нитку, а то улетит!

— Ничего, пусть летит, чувствуешь, какой ветер!

...Это мы запускаем змея, большого, разноцветного, с длинным распушенным хвостом. Самолеты — они там, далеко, а змей... Мой приятель поправляет очки, они у

него толстые, с очень толстыми стеклами, но и это не мешает заметить, что один глаз у него расположен как бы по диагонали — врожденный порок, болезнь, которой я и до сих пор не знаю названия...

...«Fasten seat belts, please! No smoking!»

...«Пристегните привязные ремни! Не курить!»

Я сижу, удобно устроившись в кресле, стюардесса разносит лимонад и минералку, ее напарница предлагает газеты и журналы, пусть не свежие, пусть вчерашние, позавчерашние и месячной давности, но ведь это все равно сервис, помогающий чем-то занять себя те три с небольшим часа, что самолет в воздухе. Соседка читает «Огонек», я же — по своему обыкновению — какую-то беллетристику, да с тоской думаю о том, что вот опять куда-то лечу, прочь от жены, от сына, прочь от всего, что столь мило и привычно для меня на земле, ведь земля — это то место, где тебя всегда ждут, где твой письменный стол и твоя пишущая машинка, еженедельные поездки на дачу, обыденная, банальная суэта, которая не что иное, как попытка прорваться от тьмы к свету...

«FASTEN SEAT BELTS, PLEASE! NO SMOKING!»

...А змей взбирался все выше и выше, ветер трепал его, заставляя совершать разнообразнейшие кульбиты, а порою и мертвые петли, нейлоновая нить больно резала руки, но отпустить, отдать это коробчатое чудо на волю ветру?

— Ты хочешь стать летчиком, ты, четырехглазый?

— Чего ты смеешься, я что, виноват, да и потом, мне говорили, что можно сделать операцию, глаз разрежут и делают нормальным, так что я стану, стану!

— Хочешь поддержать нить?

Но он не удержал ее, змей мелькнул и исчез, растворился в этом аморфно-июльском небе, и мы сидели и плакали, как могут плакать мальчишки, которым еще не исполнилось одиннадцати лет, безутешно, вздохнув, я и мой

косоглазый приятель, снявший очки с толстыми, чрезвычайно толстыми стеклами, будто не змея лишились мы, а того, что могло ожидать нас в будущем...

— Ты хочешь стать летчиком?

...— Уважаемые товарищи пассажиры, через двадцать минут наш самолет приземлится в аэропорту Пулково города Ленинграда, просьба пристегнуть привязные ремни и привести спинки кресел в вертикальное положение...

...А вечером к нам пришла его мама и попросила меня больше никогда не брать его с собой на запуск змеев и никогда не говорить ему о том, что он сможет — вы понимаете, сможет! — водить самолеты. Болезнь глаз, врожденное косоглазие, повышенное внутричерепное давление, чудо то, что он до сих пор еще жив, ведь у него была травма, в возрасте пяти лет, тяжелая травма, и нечего, вы понимаете, нечего обольщать мальчика тем, что никогда не сбудется!

ФОНТАНЫ РАЯ. АРТУР КЛАРК. ЦВЕТУЩАЯ СИРЕНЬ В ПАЛИСАДНИКЕ У ДОМА И ГРУППА ТОПОЛЕЙ, РАСТУЩИХ В ЦЕНТРЕ ДВОРА, НЕПОДАЛЕКУ ОТ БЕЗАЛАБЕРНО-ОВАЛЬНОЙ ЧАШИ, ВЫЛОЖЕННОЙ КРУПНЫМИ КАМЕННЫМИ ПЛИТАМИ. ЗЕЛЕНОВАТО-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЫБА, ИЗ ПАСТИ КОТОРОЙ БИЛА ТОНЕНЬКАЯ СТРУЙКА ВОДЫ. КУЧА ТЕСА, ГАРАЖИ, С КОТОРЫХ МЫ ЗАПУСКАЛИ ЗМЕЕВ.

«FASTEN SEAT BELTS, PLEASE! NO SMOKING!»

В соседском «Огоньке» я вычитал, что Кларк покинул Шри Ланку, где прожил так много лет и где написал «Фонтаны рая», и вновь живет в Англии, кажется, где-то неподалеку от Лондона.

ЛОНДОН. АЭРОПОРТ ХИТРОУ. ТАМ НЕТ ПРОБЛЕМ С ПЕРЕНОСКОЙ БАГАЖА, КАЖДЫЙ МОЖЕТ

ВЗЯТЬ ТЕЛЕЖКУ НА КОЛЕСИКАХ, А ПОТОМ ОСТАВИТЬ ЕЕ НА СТОЯНКЕ ЭКСПРЕССА ИЛИ ТАКСИ. ВПРОЧЕМ, ПУЛКОВО НЕНАМНОГО ХУЖЕ ХИТРОУ. А МОЖЕТ, И ЛУЧШЕ. ВЕДЬ ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО СВЕТА, КОТОРЫЙ В ТЕБЕ!

— Ты хочешь стать летчиком?

— Смотри, не упусти змея!

...Отчего именно эта история пришла мне сейчас в голову, отчего именно тот самый старый фонтан и зеленовато-металлическая рыба? Может, потому, что вода давно уже не стекает тоненькой струйкой из ее пасти, хотя сама чаша все еще существует, но сейчас она забита всякой дрянью — мусором и прелой листвой, да и продолжает ли все это СВОЙ ПУТЬ ВО ВРЕМЕНИ, может, пригрезилось, вынырнуло из самых диких пластов подсознания, вскрыть которые не в силах ни один, даже самый одаренный психиатр?! А может, дело в том, что операции, даже на глазах, не всегда заканчиваются благополучно и что толку вспоминать о том, что был у тебя в далеком детстве приятель, у которого была мечта... И был двор, и была выложенная каменными плитами чаша фонтана, рядом с которой росла группа старых, мощных, узловатых тополей, кроны которых никогда не подвергались стрижке.

ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ ЛЕТЧИКОМ? СМОТРИ, НЕ УПУСТИ ЗМЕЯ!

А тот старый двор я обхожу стороной, да и что делать мне в нем сейчас, не лучше ли из аэропорта Пулково махнуть куда-нибудь еще, ведь приличный аэропорт есть сейчас в любом мало-мальски нормальном городе!

КОНСЕРВНАЯ БАНКА И ДРУГИЕ

Повесть в рассказах



ПУСТЬ ДОЖДЬ ИДЕТ

В детстве его прозвали Консервной Банкой за необъяснимую любовь ко всему, что гремит. Правда, позже, через много лет, он сам объяснял это прозвище тем, что был тогда в общении такой же неудобный, как консервная банка, когда ударяешь по ней голой ступней. Но это уже метафора.

...А вообще-то его звали Петр.

Сначала во дворе их было трое — Консервная Банка, Мартышка и Боцман. Но в один прекрасный день случилось что-то такое, после чего троица эта распалась, а со временем бывшие друзья даже перестали здороваться. Но все это случилось потом, а тогда они были дружны, и никто ни разу не видел их поодиночке, и все во дворе, да и в квартале, привыкли к тому, что они ходят только вместе — Боцман, Мартышка и Консервная Банка. Странное сонмище прозвищ, неизвестно когда и как прилепившихся к этим мордочкам.

У Петра прозвище появилось позже всех, и благодарить за него он должен был Боцмана, хотя как можно благодарить человека за это? Но Петру оно нравилось.

А что ему надо было еще? Он был не один — у него были друзья и был чудесный мир большого города вокруг.

В тот летний вечер он сидел на балконе и смотрел, как лениво шелестит листьями огромный тополь в центре двора. И ему было очень хорошо — ведь была еще середина лета и впереди целых полтора месяца безделья, а лето необыкновенно жаркое, совсем без дождей, и в пятницу он должен ехать с отцом на рыбалку, а Консервная Банка очень любил рыбалку и страшно хотел поймать первую в своей жизни щуку, а еще лучше — тайменя. Но таймени водились в горных северных реках, так что он мог поймать лишь щуку, да и то — если отец даст

спиннинг, если он не сделает «бороду» при забросе, если попадет на хорошее место, если щука не сойдет и, наконец, если он сможет ее вытащить. Набиралось очень много «если», но от этого становилось только лучше, и Петр представил себе эту большую щуку, смотрел на лениво шелестящий тополь и бормотал как заклинание: «Только бы не было дождя, только бы не было дождя, и тогда мы поедem на рыбалку, и я поймаю большую щуку, и тогда отец подарит мне спиннинг, пусть не пластиковый, как у него, пусть бамбуковый, пусть с простой катушкой, но ведь это все равно спиннинг, а если блесны будут хороши, то лучше некуда, и тогда я чаще буду ездить с отцом на рыбалку, а может, он возьмет меня с собой и на тайменя, но для этого мне надо поймать щуку, пусть небольшую, пусть щучку, а для этого мне надо поехать на рыбалку, а для этого надо, чтобы не было дождя...» И ему стало весело от того, как красиво он замкнул круг своих мыслей и что можно начать его сначала, и получалась необычная вариация наподобие сказки про белого бычка.

Но в пятницу с утра пошел дождь. Шел он и в субботу, а ехать на один день не было смысла. И Консервная Банка даже не мог пойти на улицу — ведь шел дождь. Он сидел дома, читал Майна Рида, и ему страшно хотелось в Африку, чтобы самому быть среди охотников на жирафов и добывать слоновую кость. Дождь шел в понедельник, во вторник; в среду он перестал, но в четверг начался снова, и воздух в квартире стал сырым и застоявшимся, как на болоте. Дома все молчали — кому хочется говорить в дождь? И Петр почти неделю не видел Боцмана с Мартышкой, но если в первые дни ему очень хотелось этого, то теперь он погрузился в какую-то странную апатию, забросил Майна Рида, не подходил к телевизору, а валялся целыми днями на кровати, думая о том, что вот какое хорошее было лето, пока не пошел дождь, а идти так он может и до сентября, а в сентябре

ему в школу. И получалось, что Консервной Банке не поймать этим летом свою первую щуку и даже не испугаться еще хоть разок, а так вот и валяться на кровати, слушая, как барабанит по окнам этот бесконечный дождь.

Но все, даже самое плохое, кончается. Кончился дождь, и пришла очередная пятница, а вечером был лес на берегу тихой заводи, негромко потрескивающий костер и плеск тяжелых рыбин, начавших свою игру. Спать легли поздно, но Петр долго ворочался и все никак не мог устроиться, пока сон наконец не сморил его. И он уснул под тихий шелест сосен над палаткой и пронзительные крики ночных птиц, а проснулся от уже ставшего ему привычным за прошедшую неделю звука барабанящего о твердую поверхность дождя. Отца в палатке не было, и Петру стало тошно, и вновь подкатил к горлу тот проклятый ком, когда тебе кажется, что ты один на свете, пусть ты и не знаешь еще, что это ощущение называется одиночеством и что нет ничего горше и мучительнее его. Но тут в палатку вошел отец, сбросив у входа мокрый плащ, и в руках у него была здоровая щука. И Петр моментально выбрался из спального мешка, натянул на себя куртку и сапоги и умоляюще посмотрел на отца.

— Но ведь дождь идет,— сказал тот.

— Что же, что дождь, ну и пусть он себе идет.

— А не размокнешь?

Консервная Банка отрицательно мотнул головой.

— Что же, тогда идем.

И они спустились к реке. Петр сделал свой первый заброс и не посадил «бороду», а когда он мотал лесу на катушку, то почувствовал рывок и по тому, как дрожит леса, понял, что это не зацеп, что он действительно кого-то поймал. И он подсек точно так, как его учил отец, и стал мотать дальше, хотя было это нелегко, а отец с подсакom стоял в воде, и наконец они вытащили первую в жизни Петра щуку — не очень маленькую, но и не очень большую. И Консервная Банка сказал:

- Жарко.
- А дождь? — спросил отец.
- А что дождь? — ответил Петр.— Пусть себе идет.

ИНЫЕ

— Гоп-ля-ля! — воскликнул Консервная Банка, посылая мяч прямо в небо. Мяч звонко ударился о носок кеда, отпрыгнул и полетел навстречу солнцу, большой, упругий, разрисованный яркими желтыми и красными пятнами. Было лето, был июльский полдень, когда стрекозы парят над озерным заливом, а животы загорающих покрываются каплями пота. Впрочем, это бывает лишь в том случае, когда ты лежишь на одном месте, прикрыв глаза от солнца и слушая приглушенные ленью и жарой крики чаек. Да и то всегда можно встать со своего места, пройти несколько метров по крупному горячему прибрежному песку и броситься в теплую, уже начинающую зацветать воду, которая будет тем холоднее, чем дальше от берега.

Итак, «Гоп-ля-ля!» — воскликнул Консервная Банка, посылая мяч прямо в небо. Мяч стукнулся о берег в нескольких метрах от него, покатился и застыл возле такой живой линии залива. Петр играл сам с собой, хотя это было довольно тошно, но чем ему еще заняться, когда вокруг ни одной души? Жара всех загнала в норы, лишь где-то вдалеке, на той стороне, куда он еще не забирался, что-то наигрывал транзистор. Петр не мог расслышать, что это была за музыка, но ход его мыслей был прост: раз там музыка, значит, там люди, значит, они не спят и не будут иметь ничего против, если он подойдет и посмотрит, что творится там, на их берегу, где играет транзистор в тот час, когда жара нестерпима и даже чайки предпочитают забиться куда-нибудь под берег, где прохладно и где так призывно шумит вода...

Лес был тих и спокоен. Тропинка бежала под ногами Петра, уводя его в сторону от озера, но он знал, что это лишь видимость, что вскоре он снова выйдет на берег и все будет идти и идти по кромке воды, пока наконец не окажется на той стороне залива. Он был там лишь раз, в их прошлый приезд с отцом на озеро. Консервная Банка вспомнил отца и то, с каким азартом тот всегда посылает вперед маленькое тельце блесны и, чуть подав удилице вправо, начинает наматывать лесу на барабан катушки. В этот момент в его как бы собравшейся к прыжку фигуре всегда таится приглушенное ожидание встречи с тем неизвестным, что есть под покровом озера, пусть это всего-навсего и не очень большая рыба.

— Знаешь,— сказал ему как-то отец,— иногда мне кажется, что в тот момент, когда я пойму, что никогда не смогу вот так, как сейчас, стоять на берегу озера со спиннингом в руках, что-то безвозвратно уйдет, канет из меня самого что-то такое, чем я сейчас вправе гордиться, благодаря чему чувствую себя человеком. Дело не в том, что наедине с природой становишься добрее, что природа облагораживает тебя, нет. Как часто ты вылавливаешь рыбы гораздо больше, чем надо, а это говорит отнюдь не о доброте. Просто в такие минуты, оставаясь наедине с собой, человек начинает думать о таких вещах, о которых он не задумывается в своей той, городской жизни. Понимаешь?

— Понимаю,— сказал Петр, и ему казалось, что он и впрямь что-то понимает, скорее даже не понимает, а чувствует кожей.

«Но ведь нельзя всегда быть добрым,— думал он, идя по тропинке.— Конечно, если бы все люди были добрыми, то и разговору никакого бы не было, но ты добрый, отец вот тоже добрый, да и то не всегда. Боцман...» Тут он задумался, пытаясь понять, добрый ли Боцман, и решил, что добрый, так как вспомнил, что когда сам он случайно толкнул Наташку из их класса, а она упала и

ушиблась до крови, то Бецман взял вину на себя, и Консервная Банка поехал в Москву, на каникулы к дяде. «Впрочем,— решил Петр,— доброта друга отличается от просто доброты». Он начал думать о том, что же это такое — просто доброта, но тропинка давно уже затерялась меж береговых камней, и ему пришлось смотреть под ноги, чтобы не упасть и не разбиться, как Наташка.

Звук транзистора стал громче, и через несколько мгновений Петр мог различить яркое пятно палатки, натянутой на поляне, что была в нескольких десятках метров от него. Свернув от берега в лесок, чтобы его не очень-то было видно — и не потому, что чего-то боялся, просто так ведь интереснее: усложняя достижение уже видимой цели, придумывая что-то такое, чтобы почувствовать себя Зверобоем и Виннету,— он пошел, стараясь не оставить следов, разводя ветви руками, чтобы ни одна не треснула, не выдала его. А транзистор играл все громче, слышались голоса. Их было два, и преобладал звонкий высокий женский голос, показавшийся очень знакомым, но Консервная Банка никак не мог понять, где и когда уже слышал его. Он подошел к самой поляне, но прежде чем выйти на нее, чем сказать «здравствуйте», развел ветви руками, все по той же, вычитанной из Купера и Сетон-Томпсона детской привычке. И тут он понял, что ему совсем не надо было сюда приходить, ведь на поляне была его собственная мама, которую он не видел уже больше года. Больше года, с тех самых пор, как она собрала свой чемодан и отец посадил ее в такси, сказав на прощание: «Будь счастлива!»

На поляне был еще какой-то мужчина; мама была в купальнике, а мужчина в плавках, и они сидели за складным походным столиком, таким же, как и у них с отцом. Он не понимал, о чем они говорят, слова не очень хорошо доносились до Петра, но он видел, как мама смеялась, как она встала, подошла к мужчине и села возле него, положив голову ему на колени, а он стал гладить ее

и тоже чему-то смеяться. Ему стало очень обидно, ведь мама никогда не была такой веселой с отцом, впрочем, отец говорил, что на это не надо обращать внимания, что они просто разные, что он иной, чем мама, но это не мешает им жить вместе и любить друг друга. А сейчас Петр смотрел на свою маму, смеющуюся с каким-то совсем посторонним человеком так, как она никогда не смеялась в ответ на отцовские слова. И ему захотелось скорее вернуться на берег, свой берег, на тот берег, где стояла их палатка, где отец, уже, наверное, проснувшись, вышел из палатки и сидит сейчас у воды, тоже слушает транзистор и готовит спиннинг к вечерней рыбалке. А может, просто лежит на надувном матрасе и что-нибудь читает, а на костре булькает котелок с чаем — лишь чай, как считал отец, может утолить жажду в такую вот жару.

А мама все сидела и сидела возле этого мужчины в ярко-желтых, с красными и черными полосами плавках, позволяя ему гладить ее голову и целовать руки, а транзистор все играл и играл, и Петру казалось, что это длится целую вечность, но он не мог повернуться, не мог уйти прочь, ибо лишь сейчас понял, что мама никогда уже не будет с ними, что она на всю жизнь ушла к этому мужчине, против которого он не мог сказать ничего плохого, разве лишь то, что ему не очень-то нравилось сочетание цветов на его плавках — желтого, красного и черного. И даже то, что он сейчас стоит вот так, скрываясь от них в кустах, не могло заставить его повернуться и пойти прочь.

Мама и мужчина наконец встали, взяли за руки и пошли к воде. Петр смотрел на маму и думал, что она все такая же красивая и что все равно хорошо, что у него где-то есть мама. Ведь она не предательница, она просто иная...

«Она просто иная,— думал Консервная Банка, идя обратно,— она просто иная». И слезы катились из его глаз, и он ничего не мог с собою поделать.

Когда же наконец он подошел к своей палатке, то услышал голос отца и женский голос, почти такой же звонкий и высокий, как у мамы. Он убыстрил шаг, а выйдя на берег, увидел, что отец чем-то занят у костра, а рядом с ним сидит женщина в купальном костюме с распущенными, еще влажными волосами.

— Где ты был? — смеясь, проговорил отец. — К нам с тобой тут гостья пожаловала, а ты где-то ходишь. По-знакомьтесь!

Женщина встала и пошла ему навстречу.

НЕОПОЗНАННЫЕ ЛЕТАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

Небо было тусклым и совсем не летним, небо середины августа, когда сквозь густую синь доходит до земли свет распростертого креста Лебеда с ярчайшей точкой Денеба, от взгляда на которую у Петра замирало сердце и сладковатая тошнота подкатывала к горлу — точно так же, как когда ты несешься на велосипеде под гору, не вращая педали, а потом взлетаешь на очередную возвышенность и снова вниз, забыв все на свете и ощущая лишь тугую струю воздуха, бьющую в лицо.

«Четыреста световых лет, — думал Петр, глядя на Денеб, — четыреста световых лет, господи, ведь только стоит подумать об этом, как становится страшно. Четыреста световых лет, никто ведь и никогда не сможет своим умом понять такую прорву пространства, которая отделяет нас от этой звезды. Четыреста световых лет...» — так думал Петр, которого прозывали еще Консервной Банкой, думал в те дни, когда небо было летним, середины августа, но сегодня оно низкое, тусклое, заполненное облаками, которые постоянно меняются местами под

порывами ветра, как узоры в картонной трубке калейдоскопа. И кажется, что с минуты на минуту пойдет дождь — еще по-летнему тугой, мощный, как полет птицы, но уже несущий с собою вялость осеннего воздуха, первые заморозки сентября и узкую полоску инея, лежащую на обочинах дорожек.

Петр поехал и пошел обратно в дом. «Хоть бы кто-нибудь приехал,— думал он,— тогда было бы не так тоскливо. А то сидишь здесь, в часе езды от города, а им там ни дождь не страшен, ничто. По улицам машины шныряют, можно сидеть, смотреть телевизор или же читать книжку. Впрочем, книжку можно читать и здесь, но когда в доме никого и на добрую пару километров вокруг тоже никого, лишь стены, которым лет во много раз больше, чем тебе самому, и которые так много помнят — еще отца твоего, когда он был совсем маленьким, и деда твоего. Вон портрет его, деда, на стене, ему на нем столько же, как тебе сейчас или чуть больше, но никак не больше тринадцати». Маленький, тоненький мальчик с жесткими, ничего не прощающими глазами, так он и умер, никому и ничего не простив, а прежде всего не простив себе своей же жизни — слишком много чужих книг в ней было и слишком мало себя. Таким и запомнил его Петр — бухгалтером на пенсии, сидящим в плетеном кресле-качалке на веранде дачного дома, который стал дачей незадолго до войны, а до этого был простой деревенской пятистенкой, но это та история, о которой лишь дед мог что-либо рассказать, но ведь дед умер, когда Петру было всего пять лет, и он мало что помнил из его рассказов. Помнил только самого деда: как он сидит в плетеном кресле-качалке, а в руках держит том Голсуорси или Толстого и читает, читает, беззвучно шевелит губами, живя в мире, вход в который запрещен всем, кроме, разве что, старого Джолиона и прекрасной Элен.

— Никаких новых изданий! — говаривал дед. — Книга должна пахнуть временем.

«Дом,— думал Петр,— какими теплыми были его стены, когда сюда приезжала мама, настоящая мама, а не та женщина, которую сейчас приходится так называть. Хотя она и хорошая, и добрая, и никогда не пожелает мне зла — по крайней мере, так она говорит, мама Галя,— но все равно, это не мама, и она никогда не поймет, почему я решил остаться здесь, когда все — и отец, и она, и маленький братишка, которому всего год, который лишь наполовину мой братишка, но которого я все равно люблю,— когда все они уехали в город, соскучившись по ванне и телевизору, по свежим газетам и мороженому, хотя отец и говорил перед отпуском, что никаких газет, никакого телевизора, что именно так — в большом доме у реки, когда в радиусе двух километров вокруг нет ни одного человека,— надо провести это время. Но они не выдержали, они трусили этих нагрянувших пасмурных ночей, таинственного стона качающихся под ветром сосен, они устали от скрипящих половиц и ночных песен сверчков на чердаке, от сладкого запаха сена и печального крика птиц — вальдшнепов и куликов, от стола маленьких чаек, живущих там, внизу, в пойме у реки.

Почему,— думал Петр,— почему они так боятся всего этого? Ведь еще недавно отец радовался, когда мы ездили на рыбалку, пусть даже дождь бил в стенки палатки, как в то утро, когда я поймал свою первую щуку. Ведь я тоже люблю город, может, даже больше, чем они, ведь я и знаю-то его лучше, пыль всех районов осталась на моих кедах. Ведь мне не надо спешить в магазин после школы, как это делает мама Галя после работы, мне не надо ругаться по телефону с приятелями, как это делает отец, выпив пару рюмок за ужином,— блеск появляется в его глазах, какая-то внутренняя дрожь пробивается через покров тела, и кажется, что минута-другая — и человек этот сорвется с места и навсегда растворится в ночи, хотя этого бы я не пережил...

Что случилось,— думал он,— почему не так просто и

легко стало дома, как тогда, когда мама еще была с нами и читала мне по вечерам книжки — «Марсианские хроники», «Алису в стране чудес» да и многие другие, пусть не всегда понятные, но от этого еще более интересные. Что случилось, почему этот старый дом стал не таким, почему так манят отца и маму Галя свежие газеты и телевизор, гости, из которых они приходят слишком поздно, и я просыпаюсь, слыша их голоса, просыпаюсь, лежа на спине, и смотрю в потолок...»

Если так смотреть очень долго, то потолок исчезнет, а вместо него будет небо, то августовское, с сияющим крестом Лебеда, с далекой точкой Денеба, до которого — если верить астрономам — четыреста световых лет. А еще если долго глядеть в такое небо, то можно увидеть, как от Денеба отрывается совсем крохотная точка и летит тебе навстречу. За ней еще одна и еще. НЛО, Неопознанные Летающие Объекты — то ли ракеты, то ли летающие блюдца, что-то такое, чего, возможно, и нет, но если долго смотреть в такое вот августовское небо, когда белый потолок с маятником люстры посередине растворился и исчез, то ты увидишь это, а если ты уже что-то видел хоть раз, то и потом нельзя не верить своим глазам!

Ни отец, ни мама Галя не знали, что Петр может увидеть НЛО в любой момент, как только захочет. Они бы просто не поверили, они бы взяли его за руку и повели к врачу, а врачей он не любил. Верила в это лишь его мама, и несколько раз она вместе с ним смотрела в такое вот августовское небо. Первый раз в январе, через два года после того, как он пошел в школу, затем на следующую весну. Она смотрела и тоже видела эти точки, и они говорили о том, как было бы хорошо, если бы хоть одна из них увеличилась до огромных размеров, закрыла собою горизонт и из нее появилось бы что-то такое, чего нельзя себе даже представить. От этого что-то нельзя было бы отмахнуться, это изменило бы жизнь всех людей на земле, как изменяет ее и сплачивает война, эпидемия или

революция. Но проходит время, и люди снова начинают жить так, как жили, а если бы появилось это что-то, то люди никогда не смогли бы стать прежними. Лучше, только лучше — в этом Петр был уверен.

В крышу ударили первые капли дождя. Петр поднялся по лестнице на чердак и открыл дверь в свою маленькую комнатку, единственное место на земле, принадлежащее лишь ему. Ее выгородил еще дед, здесь он читал свои толстые книги, когда шел дождь и нельзя было сидеть на открытой веранде. Затем ее хозяином стал отец, и вот первый год, как она отдана в распоряжение внука и сына. В ней можно сидеть у окна и смотреть, как в стекло бьет дождь, и не слышно печального звука шуршащих по мостовой шин, и не ослепляют бесчисленно горящие окна. Лишь ночь, распростертая над миром на миллионы квадратных километров, да шум дождя. И где-то там, высоко в небе, крест Лебеда с точкой Денеба посередине, от которого — вполне возможно, ведь то, что ты хоть раз видел в своей жизни, можешь увидеть еще неоднократно — именно в этот момент оторвались несколько микроскопических точек и растворились в бездонных провалах космоса. НЛО, Неопознанные Летающие Объекты — памятник тем далеким ночам, когда Петр был не единственным в доме, кто смотрел в высокое звездное небо...

ДЖИНСЫ ИЗ САН-ФРАНЦИСКО

— А самое главное, что на Боцмана никогда и сердиться-то было нельзя. Что бы он ни сделал, пусть даже что-то такое, о чем потом и матери родной сказать боишься, и даже вспоминать об этом не хочешь, ну, будто предал кого, так даже вот случится такое, а на Боцмана все равно

сердиться нельзя! Посмотрит он на тебя своими честными голубыми глазами, взъерошит пятерней рыжую шевелюру и скажет: «Да, дела, а что делать-то?..» И будто змея воздушного в небо запустил, а он возьми да оборвись с пилки — такой сразу вид у него несчастный становится, что все ему на свете простишь. А в этой истории, о которой я рассказать хочу, так скорее я, чем он, виноват, ведь это из-за меня весь сыр-бор разгорелся.

Так вот, об этой истории. Было это года два, а может, и три назад, в общем, оба мы еще салагами были, но такими салагами — с понтом. Да у нас во дворе иначе и нельзя, живьем сожрут, хотя шпаной мы никогда не были и с сямками этими никакого дела не имели. Просто жили сами по себе, в школу — вместе, домой — вместе. Да и родились мы в один день, квартировали в одном подъезде, только я на четвертом, а Бодман на втором. Один раз даже так случилось (мы тогда оба еще совсем маленькими были, даже в школу-то не ходили), Бодман подцепил где-то инфекционную желтуху, а через неделю и я с ней свалился. Хотя и не видел его с того дня, как он заболел, ей-богу не видел, телепатически заразился, что ли? В общем, все и всегда у нас вместе было, а в то лето так мы вообще оба у нас жили — у них ремонт был и его к нам отправили, на четвертый этаж. А лето, надо сказать, противное было. Жара обалденная, про дожди все и забыли, духота, асфальт — не асфальт, а воск... Естественно, что половина нашего дворового народа (кто поумнее да кто на подъем полегче) в лагеря разные да к родственникам в деревни поуметались, а мы остались. В деревне у нас никого, да, честно говоря, и не тянет что-то, ведь это только в книгах там идиллия. А в лагерь — и не дети мы уже, да и тошно это. Подъем, отбой, на купанье — три минуты. Бодман вон с трех лет на воде, крабов на море с двенадцати метров запросто достает, я могу двухкилометровое озеро перемахнуть, даже без ласт, а туда же — подъем, отбой, на купанье три минуты... Впро-

чем, нам и в городе весело было. То раков поедem ловить, то в дендрарий, а то рыбачить на городской пруд. Хотя это, правда, не рыбалка, так, смех один. Центр, жара, трамваи грохочут, машины визжат, народ толпами прется, да еще куча целая на берегу, и все удочками махают, малявок разных ловят. Но все равно интересно.

Так июнь пролетел, где-то середина июля, мой день рождения приближается, у меня он как раз на перевале лета, а тут вдруг отец телеграмму получил, что к нам дядя Женя из Владивостока приезжает. А дядя Женя — это прямо-таки суперличность. Он моряк и в то же время фильмы снимает, две книги написал, сам больших акул на спиннинг морской ловил и даже участвовал в соревнованиях по их ловле на Кубе, где они на ремонте стояли. А тут у него отпуск был, и он в Москву зачем-то летел, а попутно в наш город решил заглянуть. Вот и получили мы телеграмму, что он к нам на недельку заедет. Дома все скребут, чистят, нельзя ведь перед дядюшкой лицом в грязь ударить, он ведь штучка такая, где только не был, чего не видел. Мама Галя с кухни не выходит, в общем, не дом, а автодром перед гонками на Большой Приз...

И вот пришел наконец тот день, который в телеграмме значился. Как раз накануне моего дня рождения, 14 июля. Самолет вечером прилетал, жара чуть спала, а она все это время даже под вечер не ниже чем двадцать восемь на градуснике, что у нас на балконной двери привинчен, стояла. А тут где-то до двадцати пяти упала — и легче стало и дышать, и бегать. Сели мы с отцом в экспресс, большой такой бордового цвета «Икарus» с окнами во всю стену и покатили. Я дорогу эту новую (хотя какая она новая, просто так до сих пор ее называют) жуть как люблю — машины несутся, тихо, бесшумно, скорость огромная, ну летишь, да и только! Прокатились мы так и приехали прямо к прилету дядь-Жениного рейса. Я его (дядь-Женю то есть) только на фотографиях видел, но тут сразу узнал, хотя одет он был просто, в рубашке

легкой с короткими рукавами и в джинсах. Только джинсы эти такие были, что у меня дух захватило — темно-синие, плотные, их поставишь, так они стоять будут, карманы задние на молниях, ничего лишнего, просты, как воздух, и прекрасны, как вода! В общем, я на эти его штаны так уставился, что отец мне даже по шее заехал, слегка, конечно, не майся, мол, дурья башка, а приветствуй родственника!

Ну, поприветствовали мы его и пошли на такси. Я сумку тащу, отец чемодан у него забрал и вместо чемодана букет ему сунул. Вроде бы положено так при встрече. А я иду и все от джинсов этих его оторваться не могу. А когда встали в очередь на стоянке, так не удержался и ткань помял — классная ткань, плотная и как бы живая. В таких штанах ты ведь сам частью природы делаешься, дело ведь не в том, штатовские они или нет, просто сел в них на землю — ты часть земли, на траву — травы, бежишь когда или идешь — так в воздухе растворяешься. В общем, я балдею, а они смеются надо мной, а потом такси подошло и поехали мы домой. Тут поцелуи, стол (Боцмана на сегодня домой спровадили), так что посидел я с ними, посидел, а потом решил пойти на улицу, еще одиннадцати не было, и можно чашик побегать. Летом все можно, лето — не зима, летом люди добрее. Но тут дядя Женья стал подарки раздавать — отцу ружье подводное, американское, какое-то гипер-супер, со всякими приспособлениями. Маме Гале кучу всяких тряпок. Маленькому Бобке японского надувного монстра, шkodного и в то же время такого страшного, что Бобка заревел, когда эту зверюгу надули, да она еще на ощупь мохнатая, так что он долго успокоиться не мог и все лепетал: «Паукл, паукл» (это у него паук так называется). Тут дядь Женья и говорит:

— А этому оглоеду, что, тоже сразу выдать?

— Да уж ладно, — говорят, — выдай, а то ночь спать не будет!

Тут мне и выдали!

Они лежали в запечатанном целлофановом пакете. И были они темно-синие, а сверху было написано на картонной вкладке много разных слов, из которых я разобрал только одно: Сан-Франциско. Когда же я разорвал пакет и достал их, то они прильнули к моим рукам, как что-то живое. Они были теплые, и казалось, что я видел жизнь их кровеносных сосудов. Потом я надел их, предварительно оторвав картонную этикетку, что болталась на ниточке, и они пристали к моим бедрам, будто были сшиты специально для меня. Я вжикнул молнией, а дядя Женья уже протягивал мне светло-коричневый, с тяжелой большой пряжкой, на которой было выбито то же, что написано на заднем кармане джинсов, ремень.

— Это «Левис»,— сказал дядя Женья.— В таких вот штанах ходили первые жители Калифорнии, а придумал их один человек, которого звали Леви Страус. Он уже давно умер, но память о нем живет, потому что сейчас не только в Калифорнии, не только в Америке, но и, практически, во всех странах люди носят такие штаны. Только я прошу тебя об одном,— продолжал дядя Женья,— относись к ним просто. Ходи куда хочешь, сиди где хочешь. Это просто штаны, для работы, для дома, для улицы. А то,— тут он улыбнулся,— что они волшебные, так это ты и сам знаешь...

А потом он стал рассказывать, и чудная ночь нагрянула на город. Он говорил о том, что это за город такой, Сан-Франциско, который звенит, как хрустальный колокол, от собственной красоты, когда океан на рассвете смыкается с небом и розовый туман обволакивает мост «Голд Гейтс». Он говорил о Большом Барьерном Рифе Австралии и об острове Мадагаскар, говорил таинственные слова «Сазерн Пасифик», а я слушал музыку их звучания, и мне казалось, что я скольжу на легком тримаране по серовато-голубым волнам, а летучие рыбы блестящими сабелями рассекают воздух. А потом меня отправили

спать, и я снял свои темно-синие джинсы фирмы «Левис» и положил их, аккуратно свернув, на стул у кровати. И мне еще долго снилось, что тяжелая желтая пряжка ремня — это не что иное, как голова анаконды, приготовившейся к броску.

И было утро, и был стакан холодного томатного сока, и пряный запах ветчины, и терпкий аромат кофе. И был двор, залитый солнцем, и столбик термометра давно уполз за тридцать, а Боцман стоял и теребил мою штанину, и в глазах его была беспредельная, огромная, как и весь наш мир, тоска...

Естественно, что я не выдержал. Мы зашли за гаражи, и я снял с себя свои великолепные, темно-синие джинсы и натянул его шорты цвета хаки, а он, моментально застегнув пряжку ремня, сорвался с места и полетел — через крыши гаражей, через детскую площадку, прочь со двора, через улицы, через весь город, как молния, как печаль. Я же растянулся в тени гаражей на наваленной здесь уже уйму лет куче так хорошо пахнущих летом досок и задремнул, а снился мне какой-то чудесный портовый город, и будто стою я на берегу Тихого океана и слышу хрустальный звон волн.

...В это время Боцман, встретив нашего старого недруга, Севку Длинного с компанией, улепетывал что есть мочи в направлении нашего двора. Но их было много, и бегали они не хуже Боцмана, и брошенная Севкиной рукой малярная кисть, только что побывавшая в банке с суриком высшего сорта, коснулась как раз того места у Боцмана, где поблескивали серебристые змейки замков. И красная роза распустилась на темно-синем фоне.

На Боцмана нельзя сердиться. Даже если он делает что-то такое, в чем не признаешься и собственной матери, то на него все равно сердиться нельзя, потому что делает это он сам того не желая. Джинсы мне постирали в тот же день, и роза свернулась, завяла, а потом и совсем исчезла. Только цвет был уже не темно-синий. Джинсы

стали светлыми и блекло-голубыми, как январские рас-
светы. Но я не разлюбил их. Просто они стали еще теп-
лее, еще роднее, и теперь я уже действительно мог си-
деть в них где угодно и ходить куда угодно. Только вот
Ботману я их больше не давал. И не потому, что было
жалко,— когда живешь с человеком всю жизнь в одном
подъезде, то никаких штанов для него не пожалеешь.
Просто зря он тогда испугался и побежал. Ведь Севка
просто хотел посмотреть джинсы.

МАРТЫШКА

— Давайте посмотрим, что у нее внутри,— сказал
Мартышка.

— Нет,— сказал я,— мама ругаться будет.

— Да давайте,— и его глаза сладко заблестели.

— А чего смотреть,— сказал Консервная Банка,— пи-
щалка там, и все. Тряханешь этого пупса, он и пищит.

— А вдруг не пищалка, вдруг что-нибудь другое,—
начал снова Мартышка.

— Нет, мама ругаться будет!

— Трус, маменькин сынок.

— Чего ты к нему пристал?

— А чего он выступает!

— Ладно, Мартышка,— сказал я,— может, мама и не
узнает, давайте посмотрим, что у нее внутри...

И мы схватили эту новую, говорящую куклу, подарен-
ную моей сестре, и побежали со всех ног к гаражам, где
за кучами битого кирпича и свалкой всяких железяк был
наш штаб. Сердце у меня здорово колотилось, от долго-
го бега я запыхался и перед глазами пошли круги. Да
еще эта жара, которая, казалось, распиливала тебя по-
полам...

— Вот,— сказал Мартышка,— здесь. Никто не увидит.— Он воровато оглянулся и вытащил из-за пазухи нож — маленький, ржавый перочинный ножичек со сломанным большим лезвием и плохо вытаскиваемым маленьким.

— Нет, Мартышка, не надо,— снова попросил я его, хотя мне и самому до чертиков хотелось узнать, как все-таки эта штука пищит.

— Трус,— сказал Мартышка.— Слышишь, Консервная Банка, он просто трус.

— Да не трус я, мне просто сестру жалко.

— А чего ее жалеть.— И Мартышка сплюнул. Мне всегда нравилось, как он плевал, у него это получалось очень красиво.— Нет, все-таки ты трус.— И Мартышка с трудом раскрыл ножик.

— Ладно, бог с тобой, бог с мамой и с ними со всеми, режь...— И послышался треск вспарываемой материи, а затем скрежет, даже не скрежет, а какой-то очень неприятный звук — это Мартышка пытался разрезать пластик. В этот момент ударил дождь, но мы не разбежались, а просто забились между гаражей да теснее прижались друг к другу.

— Сейчас,— пыхтел Мартышка,— сейчас мы ее...— Он снова сплюнул, и в этот момент нож наконец прорезал пластик и Мартышка принялся раздирать его дальше руками.

— Ну, что я говорил,— пробормотал Консервная Банка,— обыкновенная пищалка, стоило огород городить...

...— Ну что, мужики,— сказал Мартышка,— скоро она придет.

А ты это точно знаешь, что она согласится?

— Конечно, а чего ей не согласиться. Для нее это дело привычное, ведь она...

— Да брось ты заливать!

— Ей-богу, мужики, честное слово. Она сама говорила, что любит это делать хоть с кем и хоть где, а чем мы не люди?

— А что, Мартышка, прямо здесь? — спросил Консервная Банка.

— А чем не место? И удобно, и не видно...

Мы сидели во дворе за гаражами, и нас и впрямь не было видно, и было тепло и сухо, а воздух пах смолистыми досками и ранним августовским вечером.

— Нет, Мартышка, — сказал я, — она не согласится.

И тут Мартышка достал нож, длинный, с неярко блестящим в полутьме лезвием.

— Клевый?

— Ты чего это, Мартышка, ты это чего?

— Да ну вас, мужики, это ведь так, в шутку, она и так согласится, от нее не убудет.

И он спрятал нож в один из своих необъятных карманов, таких же, в каких раньше таскал рогатки, свистульки и рыболовные крючки, а теперь сигареты и прочую чешую.

И тут появилась она. Я-то ее сразу не увидел, я сидел к ней спиной, но я понял это по Мартышкиному лицу, которое вначале как-то вытянулось, а потом расплылось в растянутой, ослабленной улыбке, обнажившей его щербатые, потемневшие от курева зубы (за такую улыбку да еще за оттопыренные до предела уши его и прозвали Мартышкой).

— Здравствуй, Галочка, — залепетал он, — посиди с нами, ну, Консервная Банка, подвинься. — И она села между нами, в мятом платье, с расстегнутым спереди воротом.

— А чего бы не посидеть? — сказала она и мотнула головой, да так, что волосы рассыпались по плечам. — А чего бы не посидеть, — повторила она и лукаво посмотрела на меня. Тут-то Мартышка и обнял ее.

— Мартышка, не лапай! — Но он обнял ее еще креп-

че и стал валить на землю. И она все поняла и сказала:
— Ну, Мартышечка, милый, не надо!

А он все пытался повалить ее на землю, а мы с Консервной Банкой сидели оцепеневшие и не могли пошевелиться. И тут она дала ему коленкой в пах, а Мартышка взвыл и выматерился и швырнул ее на землю, а она завизжала и стала пинать его ногами.

— Ах, так! — проговорил Мартышка и достал из кармана нож. — Ах, так... Тогда давайте посмотрим, что у нее внутри...

Мы еле успели оттащить его от нее, отобрали нож и забросили подальше за гаражи, а теперь шли втроем к дому. Мартышка злобно и бессильно ругался, а мы шли и не смотрели на него. Наконец мы вошли во двор и остановились.

— Знаешь, Мартышка, — сказал я, — а ведь ты подонок!

— Да и мы с тобой хороши, — сказал Консервная Банка. А Мартышка ничего нам не ответил и вошел в свой подъезд — ссутулясь, еле волооча ноги, засунув руки в карманы и что-то бездарно насвистывая.

— Да и мы с тобой хороши, — повторил нараспев Консервная Банка и сел на скамейку.

— Да, — повторил я вслед за ним и плюхнулся в густую, вонючую городскую траву.

ВРЕМЯ ИГР КОНЧИЛОСЬ

«Вот и все, — подумал Консервная Банка, — вот и все, а это значит, что пора катиться мне отсюда к чертовой матери!»

Площадь перед вокзалом была пуста, ветер носил по

воздуху взвесь из пыли и пожелтевшей, уже начавшей опадать листвы, и только где-то вдалеке, в начале улицы, маячила фигурка милиционера.

«Да,— сказал сам себе Консервная Банка,— вот и дожил ты до того дня, когда хоть немного, да научился разбираться в себе...»

Он сел на скамейку поудобнее, вытянул вперед ноги и пододвинул ближе футляр с гитарой. Футляр был старый, потертый, впрочем, такой же была и гитара — старой, потертой, с треснувшей декой. Ей было очень много лет, этой гитаре, но звук ее оставался таким же, как в тот день, когда чьи-то пальцы впервые взяли аккорд. «Разъездной музыкант,— подумал Консервная Банка,— калиф на час, чертов аккомпаниатор! — И он бережно погладил футляр.— Вот и все. Все, что мне осталось: эта гитара, да еще то, что на мне. И десятка в кармане. Но иногда надо поступать именно так, начинать с самого начала, с гитарой и десяткой в кармане, да с тем, что на тебе. И еще — с памятью. От этого никуда не денешься, в первое время будет больно, затем боль все меньше, пока совсем не исчезнет в каком-то уголке сердца, где и останется навсегда. Тогда память становится воспоминаниями. Например, об этом дне, когда я сижу на владимирском вокзале, вокруг никого, и на днях мне стукнуло двадцать три. Это не много — двадцать три, но в это время уже можно кое-что сделать. По крайней мере, хоть родить сына. Я же пока не сделал даже этого. Я выбрал самое простое для себя — старую потертую гитару с треснувшей декой в старом и потертом футляре. Как говорится — все мое ношу с собой». И он еще удобнее устроился на дощатой скамейке, прикрыв глаза, чтобы в них не так сильно било августовское солнце.

...В тот день они шли по другому, по его родному городу. Вечер был тих и печален, может быть, потому что лето должно было скоро кончиться. Он вспомнил, как несколько лет назад сидел со своим другом Боцманом на

холмах, что были возле их старого сада, и им было так же грустно оттого, что лето скоро кончится, но та грусть была совсем иной. Сейчас же он чувствовал только пустоту.

— Петр,— говорила она ему, пока они медленно шли к ее дому,— что-то стало не так, Петр, мы с тобой...

— Что «мы с тобой»? — переспросил он. Грубо, невежливо, как никогда не позволял себе разговаривать с женщинами. Но он не мог сейчас иначе, он сам не знал почему, но не мог, и она обиженно замолчала, а он стал насвистывать свою старую песенку, где говорилось о том, что «ты просто забудь, что нагрянула осень на город, что листья сухие хрустят под ногами, как хворост, ты просто забудь...»

— Перестань,— попросила она его,— я прошу тебя, перестань!

— А что,— откликнулся он,— не нравится?

— Да нет, но все равно — перестань...

Но он продолжал идти и насвистывать эту песенку, и тогда она повернулась к нему и сказала:

— Сволочь ты все же, Петр! — и пошла.

Он не стал ее догонять, он просто подошел к бордюру тротуара и ждал, пока мимо не проедет свободное такси. Тогда он поднял руку, остановил машину, сел и поехал. Туда, где, как ему казалось, его всегда ждали.

Наутро же, проснувшись в чужой квартире, ощущая рядом с собою тепло чужого женского тела, он долго лежал и смотрел в потолок. Он старался не думать о том, как попал сюда вчера, и о той женщине, что была сейчас рядом. Он просто знал, что не будь этого, он смог бы вновь идти рядом с человеком, ближе которого ему не было на свете, пусть даже она и назвала его сволочью. «Интересно, за что? — подумал он.— Впрочем, каждого человека, наверное, иногда можно назвать сволочью...» И тут он понял то, что когда-нибудь понимает каждый человек, и не для каждого прозрение это бывает добром,

хотя оно и необходимо. Он понял самого себя, понял, лежа в чужой квартире рядом с чужим женским телом, которое любил сегодня ночью. Он понял, что до сих пор жил так, как не должен был этого делать,— сам собой. Ему всегда хватало своего внутреннего мира, и не был интересен — не просто любопытен, а именно интересен — чей-то еще. Поэтому он старался всегда быть только с теми людьми, которым мог дать несколько очков форы, поэтому и песни свои писал всегда только о себе самом — о своем настроении, о своих бедах и радостях. А так нельзя, наконец он понял, что так нельзя, и ему стало мутно от самого себя. Того, каким он был еще вчера вечером. «Да,— думал Консервная Банка,— дела. Брякнет вот иногда такое в голову, и весь ты летишь с катушек. Она правильно сделала, что сказала мне это. Так было надо, иначе я жил бы всегда как до сегодняшнего дня, а этого нельзя, нельзя делать только то, что хочется — не в плане желания, нет, хотя это и парадокс, а в том, что свои желания иногда надо оставлять с самим собой и не считать, что жизнь кончилась из-за того, что хоть один человек сделал так, как тебе этого не хочется. Жизнь не кончилась, она продолжается...»

Он осторожно выбрался из-под одеяла и пошел в душ. Вода смывала с него все, что случилось этой ночью, и он почувствовал, как рождается заново.

«А вода очищает,— подумал он,— недаром древние придумали прекрасную легенду о Венере-Афродите, недаром все мы так любим ездить к морю и даже просто — к озеру и реке...» Он насухо вытерся, натянул джинсы и свитер и осторожно прикрыл за собою дверь.

«Черт подери,— думал Консервная Банка, трясаясь на задней площадке полупустого автобуса,— все же хорошо, что все это случилось. Человек не должен думать, что когда ему плохо, то надо что-то резко менять в своей жизни. Надо просто измениться самому, надо понять, принять, ну а если уже и это не удастся, то тогда можно

изменить и жизнь. Но нельзя же так поступать все время. Что есть у тебя? Очень немного — лишь умение играть на гитаре да писать песенки, за которые платят немного денег. Так какого черта ты причиняешь боль тем, кому действительно нужен!»

«Поздно,— думал Консервная Банка,— уже просто поздно что-то изменить. Но и хорошо. Хорошо для моего собственного будущего, ведь наконец-то ты поверил, что и у тебя будет свое собственное будущее. Время игр кончилось, началась пора жить...»

Дома не было никого. Он сделал себе яичницу с колбасой и выпил чашку крепкого кофе. Затем позвонил Бодману и попросил займы две сотни.

— Тем и хороши друзья детства,— пробормотал Бодман в трубку,— что они никогда не откажут! — И они договорились встретиться через час возле почтамта. Консервная Банка запаковал гитару в футляр, сунул в сумку смену белья и тетрадку с текстами, написал записку и оставил ключ в прихожей. Он не собирался возвращаться.

...Петр открыл глаза и посмотрел на часы. До поезда было еще много времени. Тогда он достал гитару из футляра, поднастроил ее и взял первый аккорд. Был полдень, сухой, ветреный полдень конца августа, когда в воздухе висит взвесь из пыли и пожелтевшей, уже начавшей опадать листвы. Фигурка милиционера давно растворилась в привокзальном пространстве, но он не заметил этого. Он сидел и пел, пел самому себе и пустой площади перед вокзалом. Пел о том, что время игр кончилось и началась пора жить, что для каждого человека наступает тот период, когда он познает самого себя и начинает познавать и других людей, а так как кроме него их около пяти миллиардов, то работы ему хватит до самой смерти. И останется еще его сыну. Если, конечно, он у него будет.

НА СТОПЯТИДЕСЯТОМ КИЛОМЕТРЕ

— Ну вот,— сказал отец,— ну вот, Петр, вот мы и приехали.

Он прыгнул с подножки вагона, Петр подал ему чехол с ружьем, свой рюкзак, а затем прыгнул и сам. Тут поезд тронулся, сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, пока наконец не набрал скорость, и скрылся за ближайшим поворотом.

На полустанке они были одни, лишь тявкала — шкодливо, по-щенячьи — где-то неподалеку собака.

Петр потолковее приладил рюкзак, чуть распустил пояс на джинсах и сказал:

— Пошли.

Идти надо было вдоль железнодорожного полотна, затем, миновав старую, давно уже заброшенную лесопилку, свернуть в подлесок. Он был довольно молодым — лет двадцати — и смешанным. Ели, сосенки и тут же — березки, осины. Идти было удобно: трава уже увяла, дождей не было давно, так что не было и грязи, и тропинка быстро бежала под ногами. Старая, так хорошо им знакомая тропинка, но знакомая с той лишь разницей, что отец каждый год, да еще не по разу, ходил по ней, месил и грязь, и снег, да и в летнюю сушь, но уже без ружья, лишь с удочками, он проходил так, сминая яркую, высокую, сочную траву. Петр же шел, будто бродил коридорами давно заброшенного дома, в котором прошло его детство: вот зеркало, все в паутине, вот стол, покрытый сантиметровым слоем пыли, вот закуток, а в нем какой-то небольшой чуланчик, что было в нем, когда?..

— Стоп,— сказал отец,— перекури. Я пока соберу ружье.

Петр сбросил рюкзак, сел на какую-то корягу и с удовольствием закурил. Они прошли немного, всего километ-

ра три, но не курил он от самого города, а до этих трех километров они, правда, с помощью поезда, отмотали еще где-то сто пятьдесят.

Отец же, сидя на корточках, вынул ружье из чехла, собрал его, приставил к небольшой березке стволом вверх, достал из рюкзака патронташ, перепоясался, затем убрал чехол в рюкзак и сказал:

— Пошли.

И они снова пошли, но уже не рядом, а след в след, и Петр вспомнил свои детские игры в индейцев — кем он так любил быть: Зверобоем, Виннету?.. Тут отец полубернулся и прошептал:

— Теперь все, тихо, иди подальше...

Они на пару минут остановились. Отец достал два патрона и зарядил свою ижевскую двустволку. Затем они снова пошли, но уже с расстоянием метров в десять. Сначала Петр все ждал, что вот-вот да сорвется на крыло глухарь или тетерев, фыркнет, взлетая, рябчик или еще какая-нибудь местная птица, но подлесок давно кончился, и они шли лесной дорогой. Солнце чуть просвечивало из-за низких сентябрьских облаков, шаг был до утомительности равномерен, и вскоре Петр полностью отключился от всего, что было вокруг, и стал думать о том, как бы раньше — лет так пять назад — он балдел от этой вот поездки. Но то было раньше, теперь же он просто идет, как ходят на марше в армии. И тут его мысли переключились на те два года, что он был одет в форму болотного цвета, и ему почему-то вспомнились летние знойные учения, когда его назначили в группу «противника», и вначале они долго мотались по лесному хвойному бездорожью на вместительном тряском «Урале», а потом лежали в засаде на высоком берегу таежной реки, облепленные гнусом и всякой прочей местной пакостью, и автомат его от долгой стрельбы (холостыми, естественно, холостыми) стал горячим на ощупь, а руки, лицо, да, казалось, и гимнастерка пропахли порохом. Но тут грохнул выстрел, затем еще

один, и Петр увидел, как отец вдруг побежал в сторону, где что-то билось на земле. Сердце вдруг перехватило, он остановился и сбросил рюкзак. Отец вышел на дорогу, и в руках у него был глухарь.

— Ну,— только и мог что сказать отец,— ну повезло!

Глухарь был не очень большим, килограмма на четыре, а значит, что и не старым, с нежным, вкусным мясом.

— Давай рюкзак! — скомандовал отец.

Так у них было уговорено: Петр должен носить дичь.

Вскоре они пошли снова, но мысли Петра перешли уже в настоящее время. Он шел и пытался определить, когда же наступил тот момент, в который внезапно для себя самого он сбросил несколько лет: бега, гона, тоски, поиска, как их ни называй, но лет, которые изменили его, перевернули, сделали тем, что есть.

Тут он заставил себя замкнуть мысль — думать стало не очень-то приятно, тем более что дорога вновь перешла в тропинку, кочковатую, заболоченную, приходилось смотреть, куда ступать, да еще начало темнеть, а это значило, что прошагали они уже часов пять, и тут Петр почувствовал, как устали плечи и спина, икры и подошвы, как хотелось сесть, скинуть рюкзак, спокойно покурить, а потом выпить горячего чаю и съесть здоровый кусок хлеба с салом и луком.

— Ну вот,— сказал отец, обернувшись к нему,— минут через пятнадцать и придем. Только иди внимательней, не отставай, здесь потеряться недолго, а сам ты навряд ли уж помнишь...

И они свернули с дороги и пошли в гору, по бурелому, карабкаясь с дерева на дерево, продираясь сквозь заросли шиповника, мелкий ельник, пытаясь защитить лицо от колючих и безжалостных ветвей. Здесь начиналось царство отцовской охоты, его большой лес, который давно уже стал маленьким, но все равно оставался большим,— пусть и окруженный со всех сторон дорогами, пусть всего в каких-то нескольких часах ходьбы, да еще в нескольких —

езды на поезде от большого, полуторамиллионного города. Но здесь все было иное, сонное, бывшее, какой-то фантасмагорический реликт, явившийся в жизнь из музея. С заброшенными вырубам, с давно уже покинутыми людьми, зарастающими лесом насыпями бывших узкоколеек, с непроходимой чащобой, в которой водились и лоси, и медведи, и волки, да и птицы — той самой, ради которой они явились сюда: глухаря, тетерева, рябчика, — было еще достаточно.

Послышался шум воды. Солнце почти село за горизонт, и идти стало трудно. Но тут они очутились на пригорке, и прямо на них смотрел бок небольшой бревенчатой избушки. Через минуту отец с сыном были уже у двери, оба сбросили рюкзаки, а ружье отец повесил на вбитый в стенку крюк.

— Что, — сказал он с какой-то ребячьей гордостью, — здорово я тебя вывел? Сам бы ты вовек не нашел...

И оба засмеялись, беспричинно, задорно, лихо, будто вновь обрели эту давнюю, уже забытую радость...

— Давай-ка, — сказал отец, — займись костром, поди забыл, как это делается?

Но что-то, а это Петр помнил и занялся костром. Когда же тот разгорелся, то он, взяв чайник и вооружившись фонариком, по едва заметной тропке спустился к речушке, набрал воды и, вернувшись, поставил чай. Отец же в это время шуровал в избушке: растопил железную печурку, вывесил проветриться одеяла, достал съестное, занес рюкзаки и ружье.

И вскоре они уже сидели на брошенном возле костра бревне, пили обжигающий чай из таких горячих алюминиевых кружек, что приходилось обертывать ручку носовым платком, и ели толстые бутерброды с салом и горьким репчатым луком, да еще крепко посолив и намазав горчицей.

А затем сели поближе к костру. Петр закурил, и они стали молча смотреть на огонь, будто боясь потревожить

эту ночь хоть одним-единственным словом, пусть и о многом им надо было поговорить, ой как о многом...

— Ну что, пошли спать? — спросил отец. — Завтра вставать рано, если хочешь хорошей охоты...

— Пострелять-то дашь?

И они оба снова засмеялись, потому что именно так говорил Петр, когда ему было лет пятнадцать, когда он только стал ездить с отцом сюда, а сейчас...

— Как твои дела? — спросил его отец.

— Ничего, не скажу, что я очень счастлив, ты ведь знаешь меня, но...

— Но, — говорит отец, — но послушай, ты ведь не мальчик, не получилось у тебя с семьей, сам растишь сына, трудно, знаю, а все мечешься, мечешься... Я ведь сам не ангел, но мне больно смотреть, как ты постоянно чего-то ищешь и не находишь, а ведь есть сын...

Пролетела какая-то крупная птица, согнала сон, взметнулся костер пламенем...

— Сколько можно искать свое дело, — продолжал отец, — свое место...

— Сколько? Знаешь, пап («Ох, — подумал Петр, — как давно я его так не называл»), когда-то давно, еще лет восемь назад, пришла мне в голову одна любопытная формула. Вот рождается ребенок, вот он растет, начинает ощущать себя чем-то, начинает открывать себе мир... И, понимаешь, он с этим миром на ты... Ну, как бы это тебе объяснить... Он чувствует, что есть мир и есть он, и они одинаково нужны друг другу, то есть он просто чувствует, он, этот малыш, вот такой же, как и мой, что он — это личность... Но идет время, время идет, мальчик растет, становится взрослым и понимает, что миру-то он не нужен, что мир прекрасно обойдется и без него, а вот он — он без него никак. И он внезапно устает, ему все надоедает, он уже практически не живет, а доживает...

— Ты действительно так думаешь?

— Думал, до недавнего времени, до совсем недавнего.

А теперь во мне растет что-то иное... Понимаешь, это трудно объяснить...

— А ты попробуй...

— Ну, как бы тебе сказать... Слушай, можно на примере?

— Давай.

— Вот жили два человека, которых я очень люблю. Фолкнер и Хемингуэй...

— Господи,— говорит отец,— а они-то здесь при чем?

— Ты послушай,— продолжает Петр.— Оба писатели, оба очень большие писатели, наверное, одни из самых больших, которые вообще когда-либо жили на земле. Но дело не в этом. Просто один всю жизнь ездил, мотался по миру, был воистину сильной личностью, стрелял крупного зверя в Африке, ловил марлинов и меч-рыбу в Гольфстриме, воевал и всегда писал лишь о себе. Знаешь, мне кажется, что он прекрасно чувствовал эту формулу детства, про которую я тебе сказал, и всегда старался избежать этой надвигающейся усталости, и — и не мог ее избежать. Поэтому он и создавал понятие о человеке, о мужчине, идеальное не только для себя, но и для всех нас: о свободном, умеющем любить и стрелять, о честном, мужественном, верном и — несмотря на всю свою активность — вне окружающего мира. Он был один, понимаешь, абсолютно один...— Петр замолк, снова закурил и подбросил дров в костер.— А вот второй. Почти всю жизнь на одном месте, практически с одной женщиной. Вроде бы уныло, однообразно. А книги — в них люди, в них целый мир, наполненный жизнью множества людей. Подлинных, настоящих. И — не одиноких, хотя судьбы страшнее, хотя и мир более, во много тысяч раз более жесток... Воистину — мир шума и ярости, помнишь? «Жизнь человека — тень ходячая, актер на час, изображающий гордыню и страдания, рассказанная полоумным повесть — она шумна и яростна и ничего не значит». Но ведь все по-иному, есть жалость, есть любовь, есть сострадание, не миф, как у

Охотника на львов, — о мире, о людях, о себе, не апокриф собственной жизни, а реальность, то есть, понимаешь: он переборол усталость, он тоже знал эту формулу детства, не мог ее не знать, но он переборол усталость, поняв, что человек должен жить во что бы то ни стало, просто жить, и это главное. Даже хотя бы как я сейчас — ради сына. И еще одно...

— Что? — переспросил отец.

— В этой формуле есть своя мудрость. Может, я открываю и истины, но человек обязан через все пройти: через боль, гнев, усталость, через нежелание жить. Он должен пройти через это, пройти и не замараться, ибо что горше, чем умыть руки потом? Он сам, человек, должен понять, что уготовлено ему. Этому не научиться, этого никто тебе не объяснит, никто не скажет, никто тебя ничему не научит, учат века, на каждом своем витке... И самое главное, самое обидное, что понимаешь все это поздно, слишком поздно. Охотник на львов сказал, что человек один... Ну, помнишь, наверное... Так он, по-моему, этого так и не понял. А Фермер понял, понял, но не сделал из этого расхожую формулу, а просто помог...

— Твой сын...

— Корни, все ведь идет от них. И еще — уравнение с детством. Медленно, со временем. Но уже не только в маленькой цепочке «я — мир», а в цепочке побольше «я — люди — мир». Главное — понять, что они такие же, лучше ли, хуже ли, но — такие же. Понять и полюбить. Легко сказать, что всем плохо, еще легче уверовать в то, что плохо тебе, что ты одинок. Да, ты одинок, но ты и не один...

И Петр вновь закурил, но уже молча, долго и пристально вглядываясь в костер.

— Давай-ка спать, — сказал отец. — Много ты тут всего наговорил, не знаю, что тебе и ответить, но прав ты в одном — разбираться в таких вещах надо самому. Так что давай-ка спать, утро вечера...

— Знаю,— ответил Петр,— оно мудренее.

И они пошли спать, а утром, выпив чаю и слегка перекусив, пошли на выруб. Отец сразу же взял влет пару рябчиков и снял большого косача, а потом отдал ружье Петру. Теперь они поменялись местами. Отец шел сзади, Петр — впереди. По первому рябчику он промазал, но второй слетел так аккуратно и ружье так хорошо легло к плечу, а палец был так умел и легок, что рябчика сбил первый же выстрел.

— Ну вот, Петр,— сказал отец,— ну вот, Петр, утро вечера мудренее, вот ты и открыл свой новый счет...

НА ОЗЕРЕ

Повесть



— Наконец-то они уехали,— сказал мальчик.

Старик промолчал. Он сидел рядом на поросшем выгоревшей августовской травой холмике, переходящем в узкую песчаную полосу пляжа.

— Наконец-то они уехали,— повторил мальчик,— и я почему-то рад этому.

— Ну,— ответил старик,— наверно, ты чувствуешь, что они не любят это озеро, а ведь они и вправду не любят его, они любят себя на этом озере, в этих холмах.

И старик протянул руку назад, как бы стараясь показать мальчику то, что тот и так знал,— холмистую грядку берега, переходящую в поросшие березами склоны, за которыми шел большой сосновый лес, а затем вновь начинались березы, и снова шла гряда холмов, за которыми было еще одно озеро, и так снова и снова, недаром край этот называли озерным...

— Понимаешь,— сказал мальчик,— мне становится как-то спокойней, когда они уезжают и наступает тишина.

Он растянулся ничком на пожелтевшей августовской траве, иссушенной жарким, безветренным летом, на колкой, пахнущей тоской прощания траве, а старик, взъерошив волосы ему на затылке, заговорил своим глуховатым, но совсем еще не старческим голосом:

— Ты называешь меня стариком. Что же, для тебя я действительно старик, но ведь во мне нет того главного, что должно быть в настоящем старике — мудрости. Посмотри на озеро, вот про него действительно можно сказать: «как старик» — мудрый, вечный и усталый. Оно, наверно, знает то, чего мне никогда не дано узнать — смысл жизни.— Он снова взъерошил ладонью затылок мальчика.— Помнишь, ты мне рассказывал, как был на реке? Река ведь тоже — вода, но ее нельзя назвать мудрой. Река постоянно ищет чего-то нового, она как эти современные дороги. Машины несутся и несутся, одна сме-

няет другую, и так она и идет, эта бесконечная вереница разноцветных, исчезающих, растворяющихся в пространстве машин. Эта лента не останавливается, не повторяется, для них, этих машин, не бывает ни вчера, ни сегодня... Озеро же совсем иное, оно дышит, живет, вбирает в себя, как гигантская линза, лунный и солнечный свет, сколки звездных лучей. Иногда оно похоже на крылья огромной бабочки, временами это махаон, временами — «мертвая голова». А иногда его лицо действительно похоже на лицо старика — иссечено морщинами и шрамами.

— Это волны?

— Да, но не только — и ветер, и лодки, и чайки.

— А куда зимой деваются чайки?

— Должно быть, улетают. Может быть, и не в Африку, просто на юг, куда-нибудь к Каспийскому и Аральскому морям, где стеной стоят камыши, их еще называют тугаями. Там-то они и устраивают свои шумные, говорливые колонии, разрезают крыльями воздух в вечных перебранках из-за еды...

Старик замолчал, а мальчик приподнял голову. Прямо перед ним было озеро, волны размеренно накатывались на берег, а над волнами с криками летали чайки — серо-белые, похожие на лекала. Иногда, когда налетал сильный порыв ветра, какая-нибудь из птиц отбрасывалась к берегу, но потом с отчаянным клекотом вновь устремлялась в вихревой поток, пока ее собратья качались на волнах, ожидая, когда снова можно будет взлететь.

— Рыбачить сегодня поедем? — с надеждой спросил мальчик.

— Нет, — ответил старик, — давай уж завтра, отдохнем от этих трех дней.

— Почему трех? Ведь в пятницу до полудня здесь было так же тихо и хорошо, как сейчас...

— Даже два дня слишком много. До завтра озеро

отдохнет, и мы сможем хорошо порыбачить, сегодня же давай лучше разожжем костер и будем сидеть и смотреть на звезды.

— Ты говорил, что в конце августа можно увидеть звездный дождь?

— Да, Леониды, звездный поток Леонид. Но навряд ли мы сможем увидеть его здесь, для этого небо должно быть глубоким и черным, как на юге. Ты был на юге?

— Нет, не успел еще, а ты?

— Много раз и на многих морях. Хочешь, расскажу тебе про море?

— Не сейчас,— попросил мальчик,— потом, когда будем сидеть у костра.

— А для этого надо набрать хворосту,— сказал старик, и они встали и пошли, высокий, худощавый мужчина с мускулистым, жилистым телом, в джинсах и штормовке, и худенький мальчик в клетчатой рубашке, раздуваемой ветром, в коротких вельветовых шортиках и сандалиях на босу ногу.

Старик жил на этом озере каждое лето. С первых дней июня и до первых дней сентября. Жил в старой брезентовой палатке, так непохожей на все эти современные разноцветные лесные домики. Сам готовил себе пищу и предпочитал, чтобы никто не приезжал к нему из города. Там, в городе, у старика была большая семья, но так уж сложилось, что с того дня, когда умерла его жена, все они — старик и его дети, два сына и дочь,— жили отдельно, редко собираясь вместе даже на праздники. Все они — и сыновья, и дочь, да и сам старик — считали, что в этом виноват его характер, вздорный, взбалмошный, несмотря на шестьдесят с гаком, на то, что позади у старика была война. Нет, он не был эгоистом, он мог сутками сидеть у кровати, когда болела его, еще маленькая (когда-то и

она была маленькой!) дочь, сидел рядом и бережно поправлял одеяло на разметавшемся в жару тельце. Но все это было давно, так давно, что он уже не вспоминал об этом. Дочь выросла и сама родила дочку, его внучку, которую он любил, но видел нечасто — как-то не хотелось ему приходить в уютную кооперативную дочкину квартиру, садиться за полированный стол и пить с зятем водку из запотевшего лафитничка, слушая разговоры о том, что вот у Катечки (так зовут внучку) на днях было расстройство желудка, а Степа (зять) поругался вчера с главным конструктором их бюро, человеком талантливым, но большой сволочью, Степа, конечно, не так талантлив, но давно уже может рассчитывать на прибавку...

Все эти неизменные разговоры под водочку старик не любил. И вообще последнее время любил он больше всего одно: начиная с зимы готовиться к тому дню, когда можно будет надеть на стариковские, но еще крепкие плечи рюкзак с положенной сверху палаткой, взять в руки чехол с удочками и спиннингом и пойти на автобус, что довезет его до развилки, в семи километрах от которой озеро.

И день этот настаивал. Старик оставлял соседям ключ от однокомнатной квартиры, в которую перебрался после смерти жены, спускался по лестнице и шел на автобус. А потом сидел долгих три часа и смотрел в окно, провожая глазами уходящие за горизонт поля, отливающие синим заливные луга с разбросанными по ним черно-белопегими пятнами коров, маленькие речушки, мимо которых шла дорога, блестящие старицы, деревенские дома, срубы колодцев, кур, гусей и уток, возившихся в придорожной пыли.

И так было из года в год, хотя менялась дорога, асфальт заменили бетонкой, менялись речушки — они мелели, и все больше лугов появлялось вокруг, менялись деревни. Менялся и сам старик, но он не любил думать

об этом, он просто ехал и смотрел, а если что и вспоминал, так ту давнюю военную осень, сбитые кирзовые сапоги, гимнастерку, прилипшую к телу, бьющую о бедро винтовку, вещмешок, а вокруг множество таких же, как он, идущих по грязной дороге, как им казалось, целую вечность, и это действительно была вечность, но тут автобус обычно подъезжал к развилке, и старику надо было встать, подойти к шоферу и попросить его тормознуть...

Так было из года в год, пока не остановился этим летом неподалеку от его палатки ярко-желтый «жигуленок», а в нем сидел мальчик. Родители его были ненадо-едливы, хотя поначалу и пытались опекать старика, но он быстро пресек это, и тогда они стали если не друзьями, то просто добрыми знакомыми — их сблизил костер, сблизило озеро, лет чаек и плеск рыбы, а больше всего то, что мальчик действительно подружился со стариком. Июнь кончился, кончился их отпуск, но они решили оставить мальчика здесь на все лето — ведь что может быть лучше для молодого, растущего организма, чем свежий воздух, озеро и лес. А машина всегда под боком, и они смогут наезжать, конечно, когда у них будет время. И они уехали, а мальчик поселился с ним в палатке, и наступило для старика его время...

Тропинка начиналась сразу у палатки и уводила в самую глубь леса. Старик с мальчиком медленно шли по ней, время от времени нагибаясь, и охотки хвороста в их руках росли. Были сумерки, где-то куковала кукушка, в вершинах деревьев шумел ветер. Оба молчали, и не потому, что им нечего было сказать друг другу, нет, просто эти мгновения были для них своеобразным ритуалом. Но мальчик не мог молчать долго и, забежав немного вперед, спросил:

— А ты любишь охоту?

— Нет,— ответил старик,— мне слишком много приходилось стрелять в свое время, чтобы это сейчас нравилось.

— А ты был ранен?

— Знаешь,— ответил старик,— каждый, кто воевал, был ранен. Я — трижды, последний раз еле выкарабкался...

— Как это — выкарабкался?

— Ну, остался жив. Меня ранило в живот, и к тому же контузило.

— От этого у тебя и болит голова?

— Да,— сказал старик,— от этого и болит голова, и еще болит бедро, потому что до этого я был ранен в бедро, но ты привыкай к мысли о том, что чем дольше живешь, тем сильнее что-то болит.

— А у меня болят только зубы, иногда.

— Зубы — это плохо,— сказал старик,— вообще все эти болячки очень плохо, так что давай не будем о них говорить, лучше смотри внимательнее под ноги — наступишь ненароком на гадюку!

Костер они развели быстро, старик ловко вскрыл ножом банку с тушенкой, вывалил ее в котелок, куда мальчик к этому времени уже начистил немного картошки, и бросил целую луковицу.

— Принеси воды для чая.

Мальчик взял небольшое ведерко и побежал на берег, а старик сел у костра. На душе у него было просто и ясно, как не было все эти последние годы. Иногда ему даже казалось, что они поменялись с мальчиком ролями, что он — это мальчик, а мальчик — старик, и поэтому им так хорошо вместе. Он не жалел о прошедшей жизни, но ему всегда не хватало рядом такого вот мальчика, а собственные его сыновья в таком возрасте были очень далеко от старика, впрочем, не по своей, да и не по его вине...

С озера подул теплый мягкий ветер. «Хорошая будет утром рыбалка,— подумал старик.— Хорошая будет рыбалка, если только ветер не поднимется. Надо будет научить мальчика ловить щуку, на этих озерах если что и стоит ловить, так это щуку». Тут послышались шаги, мальчик поставил ведро рядом с костром и сел на корточки напротив старика.

Они поужинали, попили чаю и подбросили в огонь хворосту.

Пламя было прозрачным, ветер стих, и дым отвесно уходил в небо.

— Я недавно читал книжку «Борьба за огонь»,— сказал мальчик,— неужели когда-то это было так сложно — развести костер?

— Это было не главным — просто развести,— ответил старик,— надо было его сохранить, сохранить огонь, ведь он — как жизнь, мы ведь тоже постоянно стремимся ее сохранить...

— Смотри — звезды,— сказал мальчик.— Ты все созвездия знаешь?

— Нет, куда мне. Ну, Лебедь, ну Кассиопею, Большую и Малую Медведицу... А самые красивые созвездия — в южном полушарии, ничего нет красивее, чем Южный Крест.

— А ты его видел?

— Да, ведь я говорил тебе, что был на многих морях. После войны несколько лет плавал на рыбацком судне, на траулере, и еще — на сухогрузе. И видел, как зажигается в небе Южный Крест.

— А про море? Ты ведь обещал...

— Море...— Старик на минуту замолчал.— По ночам оно светится, а в шторм волны выбрасывают на берег водоросли и белые шапки медуз. Самое удивительное на море — это полный штиль, когда на многие десятки, а может, и сотни миль вокруг вода становится как залитый стеклом пол какого-то таинственного, будто космического,

зала и через него можно наблюдать за музыкой водорослей и рыб.

— Ты любишь море больше, чем озеро? — спросил мальчик.

— Нет, просто по-другому. Понимаешь, море... Оно слишком велико, чтобы ты мог его понять. Озеро же успокаивает, оно как с детства знакомый двор, в котором ты вырос...

— Расскажи еще про море.

— Однажды мы возвращались из Индийского океана в Одессу. Перед рассветом покинули Порт-Саид. Средиземное море было спокойным, началась моя вахта, и я вышел на мостик. И в тающем тумане увидел, что на много миль вокруг растянулись суда 6-го американского флота. Они шли ровным, красивым треугольником, окружая нас, эсминцы и крейсера, торпедные катера, морские охотники и авианосец. Шли тихо, на приглушенных машинах, сохраняя дистанцию, шли гордо и самодовольно, но мы были центром этого треугольника, а потом, когда солнце совсем поднялось, с палубы авианосца взметнулось звено истребителей и началось что-то наподобие игры в пятнашки с нашим судном. Они нас не трогали, то было время холодной войны, и они нас не трогали, они просто летали возле нас, делали рядом «бочки» и «иммельманы» и снова взлетали в небо. Рядом летали чайки, солнце до того резало глаза, что иногда мне казалось, будто истребители — это те же чайки, только большие, во много раз больше. И вдруг все это исчезло, как по мановению волшебной палочки, исчез весь 6-й флот, эсминцы и крейсера, торпедные катера, морские охотники и авианосец, унесший в одной из ячеек своих палуб звено серебристых истребителей с белыми звездами на крыльях. Потом оказалось, что у нас отказал локатор, и мы не смогли засечь их вовремя.

Мне кажется, они тогда решили просто посмеяться над нами, над маленьким, безобидным суденышком,

шли на учения и наткнулись на нас. И решили поразвлечься...

Старик замолчал и подбросил хворосту в костер, а потом снова закурил. Мальчик тоже молчал, и отсветы пламени ложились на его лицо, отчего оно словно бы стало старше.

— Давай-ка быстрее спать, — сказал старик, — утро обещает быть хорошим, и мы поедем ловить щук на спиннинг, я давно обещал, что научу тебя этому, так что давай спать...

Они затушили костер. Под одеялом было тепло, мальчик свернулся клубочком и сразу же закрыл глаза. Он любил видеть картинки перед тем, как заснуть, и сначала ему казалось, что вокруг безбрежная гладь моря, на которой покачиваются корабли с чужими звездами, а потом поверхность моря стала превращаться в залитую бетоном поверхность шоссе, а корабли — в летящие по ней «Волги» и «Жигули», «Москвичи» и «Запорожцы», мотоциклы и мотороллеры, и все неслись в одну сторону, сюда к озеру...

Они наезжали каждую пятницу в конце дня. Где-то к шести вечера дороги из города уже были забиты ими, а двери гаражей все открывались и закрывались, выпускающая новые партии. Хлопали двери в бетонных многоэтажках, поворачивались в скважинах ключи, дебелие матроны и седые отцы семейств, молодые фёрты с джинсовыми девочками, благородные собаки и дворняги, множество котов — великое множество котов! — и тюки, и сумки, и чемоданы, палатки, удочки, множество стеклянной тары, еще полной, еще только купленной в магазине, и свежие овощи, и консервы, и теплые, пахнущие полем и солнцем буханки хлеба — все это наполняло коробки машин, включалось сцепление, машины плавно трогались с места и неслись по дороге. И все, что случалось за неделю, оставалось позади, там, в городе: свадьбы и похороны, неприятности и радости, ангины, инфаркты, сплетни,

анекдоты, прочитанные книги, театры, кино, телевизор, телевизор и еще раз телевизор, новые брюки, новая кукла, новый проект, новый дом — все это оставалось там, в городе, а вокруг были поля и леса, сверкали блестящие озера, текли маленькие речушки, а машины неслись и неслись, алые, желтые, золотистые, цвета «белая ночь», цвета беж, цвета «коррида», роскошные черные «Волги», «жигуленки» — символ достатка и устойчивости, трудяги «Москвичи» первых выпусков. Изредка динозаврами мелькали «Победы», пронеслись «газики», высоко подпрыгивая на своих четырех колесах, и всюду были «Явы», десятки, сотни, тысячи «Яв» с распластанными рулями, с пригнувшимися фигурами седоков в белых, красных, синих, желтых, разрисованных львами и звездами шлемах.

И все это заполняло берега рек и озер — ревели транзисторы, хлопали пробки, смеялись и рыдали женские голоса. С утра в субботу мириады резиновых лодок покрывали водную гладь, и поднимались удилища, блестящие в лучах восходящего солнца катушки спиннингов, а потом ветер разносил по окрестностям запахи ухи. И снова хлопали пробки, снова орали транзисторы и смеялись, пели и рыдали голоса. И наступало воскресенье, и близился вечер, и свертывались палатки, и лента моторизованной рулетки шла в обратную сторону — в кассету города, в бетонные многоэтажки домов, в уютные ячейки гаражей. И наступала новая неделя, со зябьбами и похоронами, работой и сном и телевизором, телевизором и еще раз телевизором. И так до пятницы, до шести часов в пятницу, пока не начинала гудеть поверхность выводящих за город шоссе.

Старик плохо спал в эту ночь. Он лежал и смотрел в брезентовый потолок палатки, слушал тихое дыхание спящего рядом мальчика и думал о том, что единствен-

ное, что он хотел бы вернуть,— это возможность засыпать сразу. Это и еще одно... Тот предвоенный августовский полдень и ту тоненькую девочку, которая бежала, смеясь, от него по пляжу, а потом дала себя нагнать, и они повалились в песок, и он ощутил, что у нее горячее, упругое тело, и девочка вскрикнула и прокусила его губы до крови, а потом они долго лежали рядом, не глядя друг на друга, пока наконец не настали сумерки и голод не подкрался к ним хитрой кошкой. Тогда они встали и пошли по дороге в город, пошли, взявшись за руки, туда, где звенели трамваи и кто-то смеялся и где плакал чей-то ребенок. Они шли так долго и молча, держась за руки, а потом он обнял девочку и поцеловал... Тут у старика закололо сердце, как оно кололо всегда, когда он вспоминал эту девочку и все, что было потом, тот сумасшедший, счастливый год, когда они были вместе, и — так бывает, когда, держа в руках какую-то посудину, заглядишься на что-то и выронишь ее из рук и она разлетится вдребезги,— конец этого года, девичью фигуру, уходящую в ночь, навсегда, непонятно почему. «Проворонил! — кричала ему ночь. — Проворонил!» Сердце кольнуло еще сильнее, и тогда старик осторожно выбрался из-под одеяла, постаравшись не разбудить мальчика, и вышел на берег.

Луна была большой и красной, и таким же было ее отражение в озере.

Боль в срами, отпустила, а потом и совсем исчезла. Старик сел на лодочку рядом с палаткой и стал слушать, как в камыш^{вах} бьет рыба. Ему не хотелось ни о чем думать.

— Приснилось,— сказал старик сам себе вслух,— просто приснилось.

Поднявшись, он спустился к воде. Вода была необыкновенно теплой, сначала ему показалось, что она просто обожгла ступни ног. Он снял джинсы и свитер, аккуратно свернул их, положил возле камня и вошел в воду. Оку-

нул с головой, а потом нырнул, стараясь плыть под самой поверхностью воды, чтобы не угодить головой в песок. Вынырнув, он снова встал и прошел еще несколько метров, вода доходила уже до плеч, и тогда он снова нырнул, а затем поплыл саженками, аккуратно разрезая воду руками. Он плыл так очень долго, пока не почувствовал, что устал. Тогда он лег на спину и стал тихонько подгребать руками, так, чтобы волны и ветер сами несли его к берегу, а он просто держал бы курс. Луна была прямо над ним, и звезды были прямо над ним, но из-за луны они были едва различимы. Он повернулся на живот и вновь поплыл, на этот раз брассом, на душе у него вдруг стало чисто и светло, как не было уже очень давно. До берега осталось метров двадцать, он попробовал достать дно ногами и обрадовался, ощутив подошвами крупный шершавый песок. «Все же не мальчик,— подумал он,— все же за шестьдесят...» Он встал и пошел к берегу, а луна отражалась прямо перед ним, и он разрезал своим телом ее отражение, ему было весело от этого: будто он гонит телом красный воздушный шар, чуть ли не саму вселенную, а если и не ее, то, по крайней мере, какое-то очень близкое ей подобие, может быть, жизнь.

И только на берегу, натянув прямо на мокрое тело свитер и штаны, старик понял, как он устал. «Дурак,— думал он, сидя на камне рядом с палаткой,— старый дурак, еще не хватало, чтобы загнулся прямо в озере. Подумал бы о мальчишке, что он стал бы делать, проснувшись и увидев, что тебя нет рядом, нет на берегу, нигде нет. Герой — думал старик,— ну что ты доказал сегодня, когда полез в ночное озеро, на свидание с луной...»

Ему вдруг стало смешно.

Где-то в лесу, за спиной, гулко заухал филин, и старик подумал, что вскоре наступит рассвет, а он обещал мальчику, что они поедут на рыбалку, а значит, хоть немного, да надо поспать. Но долго еще сквозь не до конца закры-

тый полог палатки светил ему тусклый, тревожный, красный диск луны.

За лето мальчик научился неплохо грести, и старику было приятно смотреть, как он ладно откидывается назад, плавно погружая весла в воду, плавно, не рывком, не оставляя на поверхности радужную взвесь. До восхода оставалось еще с полчаса, но было уже довольно светло, и хорошо различались очертания заливчика, куда шла лодка.

— Молодец,— сказал старик,— просто молодец! Отец с матерью тебя не узнают.

— Еще бы! — отозвался мальчик, и они со стариком улыбнулись друг другу.

— Стой, на всякий случай наловим живцов, разверни кормой к берегу.

Мальчик послушно повернул лодку, а старик опустил в воду тяжелый камень на длинной веревке, заменявший им якорь. Они разматывали небольшие зимние удочки, насадили червей и почти одновременно забросили лески в воду. У мальчика клюнуло сразу, сначала резиновый сторожок просто слегка дрогнул, а потом быстро-быстро закивал и наконец почти пригнулся к пластиковой тростинке удочки.

Мальчик подсек, перехватил леску левой рукой и вытащил малюсенького окунька.

— Ишь, стервец,— засмеялся старик,— для такого у нас и кошки нет.

Мальчик осторожно снял окунька с крючка и бросил обратно в воду.

— Это ты зря,— сказал старик,— он все равно не жилец.

— А вдруг...

Старик повел плечом в сторону неба. Мальчик поднял голову и увидел, как неизвестно откуда появившаяся пры-

мо над ними чайка быстро спикировала в воду и снова взмыла вверх.

— Черт с ней,— сказал старик,— ей ведь тоже есть надо.

Они замолчали, мальчик стал насаживать нового червяка, а у старика заклевало, и через мгновение он держал в руках увесистого окуня.

— Тебе везет,— сказал мальчик.

— Ерунда,— отмахнулся старик,— разве это рыба...

Они посидели так еще с полчаса, а потом старик сказал:

— Все, хватит, даже на уху наловили.— И стал вытаскивать якорь, а мальчик вставил весла в уключины.

Когда до камышей осталось метров тридцать, они снова остановились, и старик опять опустил камень в воду. Затем он взял со дна лодки спиннинг, достал из кармана штормовки коробку с блеснами, вынул одну и прицепил ее к поводку.

— Смотри,— сказал он,— только сиди осторожнее, чтобы не попасть под леску.

Старик размахнулся и сделал первый заброс, но неудачно. Блесна отлетела всего лишь метров на десять и гулко плюхнулась в воду.

— Черт! — выругался старик и принялся мотать, затем сделал заброс снова. На этот раз он был пустым. Таким же был еще один и еще, а старик продолжал методично взмахивать правой рукой, посылая блесну в воду. И вдруг, когда он стал наматывать лесу после очередного заброса, будто что-то ударило по ней, она остановилась, а потом стала быстро разматываться обратно в воду.

— Отлично! — крикнул старик.— На этот раз что-то есть.

Он уселся поудобнее и стал оттягивать спиннинг вправо, одновременно наматывая лесу на катушку. Вначале

она поддавалась с трудом, но потом внезапно ослабла, провисла, старик стал быстро мотать, и она пошла легко, и вскоре щука выскочила из воды, сделала свечку и снова ушла в воду, а старик все подтягивал и подтягивал ее к лодке, а потом, с трудом удерживая удилице, резко и отрывисто сказал мальчику:

— Подсак!

Мальчик взял подсак на короткой бамбуковой ручке и перегнулся через борт, а затем ощутил в своих руках рвущуюся, брызгающую тяжесть, и вот уже щука изгибалась на дне лодки.

— Хватит,— сказал старик,— пока довольно. Вечером поедешь ловить сам.— И пока мальчик поднимал камень и вставлял весла в уключины, занялся щукой, пытаясь извлечь блесну из ее пасти.

Они добрались до своей бухточки, когда солнце стояло уже довольно высоко. Старик принялся потрошить щуку, а мальчик взял садок с окунями и присел на маленький складной стульчик рядом. Возле них кружились чайки, много чаек, они со сварливыми криками ныряли за требухой, вновь взмывали в воздух, вновь ныряли. Иногда за наиболее удачливой, той, которой достался кусочек получше, бросались вдогонку несколько товаров, и в воздухе начинался настоящий воздушный бой, с мертвыми петлями, с пике и уходами в штопор.

— Ишь, звери,— сказал, смеясь, старик, уже распластав щуку.— Это же надо, всю жизнь думают только о том, как набить себе брюхо.

— А на вид такие красивые...

— Ну и что, в природе вообще очень много красивого, но почему-то практически все думают главным образом о том, как набить собственный желудок.

— А люди?

— Люди...— старик замолчал.— Конечно, люди не чайки, но, бывает, и они становятся похожими, от этого никуда не денешься...— И старик вновь замолчал, продолжая

машинально промывать уже разделанную щуку. «Есть, по крайней мере, несколько человек, которые могут называть меня так,— думал он.— За то, что когда-то в чем-то смалодушничал, стал чайкой... А ведь их я любил, пожалуй, именно их-то я любил больше всего на свете, но вот почему получилось именно так? Наверно, потому, что думал о себе, только о себе. Даже делая добро, делал прежде всего потому, что это было приятно, не ради тех, кто нуждался в помощи, сочувствии,— ради себя... Допрыгался,— подумал старик,— дождался, что дошел до всего этого сам, только вот слишком поздно уже что-то изменить...»

— Разведи костер,— попросил он мальчика,— надо завтракать. Ты ел когда-нибудь двойную уху?

— А это вкусно?

— Конечно, ты не представляешь, как это вкусно.

«Лишь бы занять его чем-нибудь,— подумал старик,— я не хочу, чтобы он видел, как мне скверно сейчас, пусть разведет костер, пусть поставит котелок на огонь, только бы не сидел здесь, рядом, только бы не заметил, как мне скверно...»

А озеро дышало ему в лицо влажно, спокойно и тихо, как дышат деревья после проливного июльского дождя.

— Почему ты всегда летом живешь здесь? — спросил мальчик, дуя на ложку с ухой.— Неужели тебя никогда не манит в город?

— А тебя манит?

— Да нет, просто иногда скучаю по маме с отцом, но это быстро проходит, ведь здесь гораздо интереснее, мы ездим с тобой на рыбалку, слушаем чаек и смотрим на небо, а это не может надоест. И потом — мне нравится быть с тобой, ты много видел и знаешь и рассказываешь обо всем. Мне кажется, что раньше я был гораздо глупее, до того как познакомился с тобой.

— Ну, это ты зря,— сказал старик,— просто человек умнеет с каждым днем, с каждым годом. И каждый — по-своему.

— Как это?—спросил мальчик.

— Каждый выбирает для себя что-то основное, чему он и посвящает жизнь. Представь огромную гору, вершина которой — конец жизни. На ней множество тропинок, и с одной нельзя свернуть на другую. Ты выбрал одну, со своими расщелинами, завалами, ледниками, и ты вынужден идти по ней, приноравливаясь ко всем препятствиям. Другие же познать тебе не дано. Понял?..

— Смутно,— признался мальчик,— но ты продолжай.

— А что продолжать? Так вот и человек. Один решил стать, к примеру, ученым, что-то открыть, и вот он всю жизнь идет к этой цели, развивает свой мозг, свое умение воспринимать окружающее именно так, как того требует цель. А другому этого не надо, ему просто хочется по-настоящему работать, хорошо зарабатывать и ни в чем не нуждаться. И он именно в этом направлении развивает свой мозг и, как правило, достигает цели.

— А это плохо?

— Почему? Так — проще, обычно такие не любят думать об отвлеченных вещах.

— Но ты ведь думаешь о них постоянно.

— Я старик, мне больше ничего не надо, у меня все позади, и я могу себе это позволить.

Они замолчали, уха была очень вкусная, настоящая — двойная, с густым наваром. Когда они доели ее, старик открыл банку с яблочным компотом, и они съели его, а потом улеглись на положенных рядышком надувных матрацах.

Мальчик стал читать Майн Рида.

— Нравится? — спросил старик.

— Ага, особенно, когда про охоту да еще про экспедиции в джунгли.

— Ты читаешь про Африку?

— Да, «Охотники за жирафами», но я уже прочитал про Белого Вождя, и про приключения на Борнео, и про охотников за растениями, и про море. Он хорошо пишет про море.

— Мне больше нравится Мелвилл да еще, пожалуй, Конрад и Хемингуэй,— сказал старик,— но тебе сейчас, конечно, должен нравиться именно Майн Рид. Мне он тоже нравился, когда я был таким, как ты... «Опять,— подумал он,— опять: тебе должно нравиться лишь потому, что когда-то уже нравилось мне. Как аксиома. А я давно уже не верю в аксиомы... Знал ли я, что лето окажется именно таким — легким, безоблачным? Я знал лишь то, что оно наступит, но и только, а все остальное — за пределами доказательств...»

Мальчик продолжал шелестеть страницами, старик поудобнее устроился на матрасе.

«А самое главное,— продолжал думать он,— что я совсем перестал вспоминать о смерти. Раньше-то думал о ней слишком часто, а сейчас, когда вроде бы как раз тот возраст, когда должен думать об этом больше всего, ведь я слишком люблю жизнь да вдобавок перешагнул возраст своего отца и многих, многих других, кого любил, но кого давно уже потерял,— я перестал о ней думать. Может, просто лето такое, спокойное, безбрежное,— как море в штиль. И сам я стал спокоен, как это лето. И даже не боюсь вспоминать — ни ту девочку, ни тот переход через Средиземное море, я ничего больше не боюсь вспоминать, даже войну...»

Старик повернулся на живот и уснул.

Он спал, и ему спился далекий белый солнечный город, снились приливы и отливы, снилась та девочка, неизвестно как попавшая на припортовые улицы. А потом этот сон кончился и начался другой. Старик бежал по бесконечному, изрытому воронками полю, в него стреляли, а старик все бежал и бежал, сжимая в руках автомат. Иногда он падал, перекатывался то вправо, то влево, на-

жимал на спусковой крючок, давал короткую, а затем длинную очереди, поднимался, снова бежал, а рядом бежали друзья, бежали те женщины, которых он любил, бежали оба сына и дочь, даже маленькая внучка и та катила в своей коляске. А потом завывли сирены воздушной тревоги и показались в небе ровные треугольники самолетов, полетели в землю бомбы, а сирены все выли, выли, выли...

Старик проснулся оттого, что кто-то настойчиво тряс его за плечо.

— Что? — еще не придя в себя после сна, спросил он. — Что случилось?

Он увидел расстроенное лицо мальчика и ярко-желтый «жигуленок» в конце поляны. А потом увидел и мужчину с женщиной.

— За мной приехали, — сказал мальчик, — они говорят, что хотят оставшиеся до школы две недели провести со мной.

— Здравствуйте, — проворчал старик, подымаясь и идя навстречу мужчине с женщиной. — Простите, я немного соснул...

Они поздоровались, и мальчик стал собираться, а старик стоял, смотрел на озеро и видел солнце, уходящее за полосу горизонта.

— Не надоел он вам тут? — равнодушно спросила женщина.

— Да нет, что вы...

— Спасибо, огромное вам спасибо, заходите в гости.

Они сели в машину, а мальчик подошел к старику и встал рядом.

— Прости, — как-то сбивчиво, торопясь, заговорил он, — но я никак не могу остаться. Мне очень хочется, но я не могу, мама...

— Понимаю, — ответил старик, — да это ничего, я и сам на днях двину в город, все равно лето подходит к концу.

— Ага,— сказал мальчик,— ну ладно, тогда я все же поеду?

— Конечно, чего спрашиваешь...

— Я приду к тебе, можно, я ведь знаю, где ты живешь в городе.

— Приходи.

— А сам я так и не поймал щуку...— И мальчик повернулся, сел в машину, и они уехали.

«Как долго не оседает пыль, дождей давно не было,— подумал старик, глядя машине вслед.— Но это и хорошо, хорошо, что лето было таким».

Вдруг он почувствовал, как устал за сегодняшний день. «Надо еще поспать, лягу-ка я сегодня пораньше...»

Он спустился к озеру, вытащил лодку подальше на берег и забрался в палатку. «Но я еще проживу здесь несколько дней,— подумал он,— порыбачу, посмотрю на солнце...»

«Опять стал бояться,— мелькнуло у него в голове,— стояло мальчику уехать, как я опять стал бояться. А этого нельзя, никак нельзя, будет еще одно лето, и еще одно, а если умирать, то уж лучше в воде, заплыв далеко-далеко. Но не так, как моя жена,— с сиделкою, со стонами, с завещанием. Да мне и завещать-то нечего, разве что спиннинг. Прекрасный шведский складной спиннинг из отборного черного бамбука. Спиннинг и память, ее-то некому передать...»

И старик вновь уснул, но на этот раз сны его были приятны и спокойны, ему снился рассвет на озере, как весла легко и плавно входят в воду, как подергивается поплавок, когда рыба начинает клевать. А потом ему снился костер и звезды над головой, много звезд, гораздо больше, чем можно увидеть простым глазом. И старик проснулся, вылез из палатки и действительно увидел звезды. Не так много, как во сне, но все равно больше,

чем обычно. И далеким желтым шаром маячила в небе луна.

«Вот и хорошо,— подумал старик,— хорошая ночь, чтобы лучить раков, надо наловить на завтрак». Он надел сапоги, взял фонарик и спустился к воде.

Мальчик же давно спал, приняв горячую ванну, сытый после прекрасного домашнего ужина — пельмени, чай с вареньем,— спал, посмотрев телевизор, всю вечернюю программу, успев созвониться с друзьями и договорившись пойти с ними завтра в кино. Ведь до школы оставалось еще две недели, и он был волен поступать так, как ему хочется.

А старик бросал в садок отборных, черных от ила раков и смотрел, как пляшут в волнах луна и звезды.

**МЫШКА-НОРУШКА
И ЛУНА В ПОЛДЕНЬ**

Повесть



— Ну уж, дудки, Темкин,— говорит мне наша лапонька Аллочка,— ну уж, дудки, ты меня теперь этими баснями про тетку с племянниками не проведешь, будь добр, Темкин, сделай так, чтобы твоя мама завтра ко мне пришла. Честное слово, Темкин, вот смотрю я на тебя и удивляюсь — вроде бы интеллигентный мальчик, мама такая хорошая, папа, а сам — непонятно кто. Тебя, Темкин, в колонию давно надо, среднего режима.

— А таких нет, Алла Максимовна,— говорю я,— да и не можете же вы, интеллигентная женщина, педагог, стращать своего нерадивого ученика колонией, это не по правилам...

— Ах, Темкин, Темкин,— вздыхает она, достает из сумочки платочек и начинает обмахиваться, хотя не жарко, вот уж точно, что не жарко,— что-то вот есть в тебе, а никак не могу понять что. Ты уж будь добр, передай маме, чтобы она завтра пришла, хорошо?

— Хорошо,— говорю,— Алла Максимовна,— а сам тихохонько так к дверям, спиной вперед продвигаюсь.

— Ладно?

— Ладно, Алла Максимовна!

— Обязательно?

— Обязательно! — А сам уже в дверь выскальзываю, тенью притворился и шмыг, лишь она меня в учительской и видела.

Уфф, на сегодня вроде бы все, завтра вот только снова начнет, как ей объяснишь, что предки мои переругались и обоих сейчас нет в городе, мать к сестре в Ленинград умотала, а отец уперся в свою загородную берлогу и сидит там, творит, писатель. Хотя зря я так на него, сам я в его книгах мало что понимаю, но чувствую — что-то там есть, а главное — читать не скучно и за живое берет, если грустно — так грустно, весело — по-настоя-

щему весело, ничего он мужик, только когда ему эта блажь с моим воспитанием в голову ударяет, таким нудным становится — бежать некуда. И вот тут ему как раз с матерью начать ругаться, сами ругаются, про меня забывают, а мне хорошо, тихо, спокойно, занимайся своими делами, никто тебя не трогает, никто не говорит «что-то Димыч сегодня за математику не садился!», «опять, Димыч, магнитофон с утра крутится, опять ты со своей музыкой!», «ты куда это, Димыч, собрался, разве забыл, что тетя Леля к нам сегодня придет?». Нет, пусть уж лучше между собой отношения выясняют, чем так меня муржить, да еще Аллочка эта пристала, как репей: «можешь лучше, в тебе что-то есть, ты можешь быть гордостью класса, Темкин, а ты ленишься, посмотри вот на Архиповича, не глупее тебя, а как занимается, да еще на всех олимпиадах выступает!» А что я ей отвечу? Что, мол, тошно мне все это, Алла Максимовна, и вообще, честно признайтесь, что лично до меня вам никакого дела нет, начитались разных там Сухомлинских и сами — в великие. А ведь для этого не только желание иметь надо.

Такая вот и подобная этой лажа лезет мне в голову, пока я спускаюсь в раздевалку, беру и надеваю куртку, выхожу, сажусь в троллейбус и жду, когда он доедет до Белинского. Это такая улица в нашем городе, пыльная, длинная и шумная. Очень пыльная, очень длинная и довольно шумная.

А дома тихо, когда моих дома нет, то всегда тихо. Я иду на кухню и открываю этот чертов холодильник. Яичница с колбасой — мое самое любимое блюдо, когда еще дед с нами жил, так он часто над этим смеялся и говорил, что если бы я жил до революции, то непременно стал бы извозчиком, из-за трактиров: мол, только в трактирах подавали такую яичницу с колбасой, что гурманы из «Славянского базара» туда бегали — поестъ яичницы, капустки соленой да рюмочку выпить.

Вот уж когда была действительно благодать, так это когда дед с нами жил. Чуть только начнут мои ругаться, так он им бац — и одну из своих историй. То как он с кем-то из деятелей в одной машине ехал, тогда ему лет восемь-девять было, а те попросили дорогу до его, дедовой, деревни показать; то как он к Мейерхольду поступал учиться, да много у него таких историй. Сам он подмосковный, полжизни в Москве прожил, а потом их с бабушкой на Урал занесло. Тут и мама родилась, тут и я. А потом не выдержали они с бабушкой, уехали на дедову родину, а жаль. С ними весело было — то на рыбалку, то по грибы, а эти мои интеллектуалы только и знают, что «вот почитай-ка ты, Димыч, последнюю «Иностранку», там одна такая удивительная вещь есть, знаешь, такая экспрессивная, глубокая...».

— А кто, — говорю, — написал, ма?

— Забыла, знаешь, вот минуту назад помнила, а сейчас забыла!

Ну честное слово, как в анекдоте. А отец еще хуже. Сидит в своем кабинете, сидит, потом как выскочит, побегает по квартире, побегает, схватится за голову и как закричит: «Вот оно, нашел!» И снова — юрк в кабинет, и только машинка чик-чик, чик-чик. Мама же, бедная, ходит, мается, начнет подругам звонить, а как дозвонится, так вообще лажа: «Ах, Эллочка, — говорит, — ах, лапонька, ну и счастливая же ты (Эллочка — это ее лучшая подруга, крыса такая раскрашенная), поди, со своим-то в кино ходили...» И так вот до бесконечности, сначала про мужей, там и на детей перейдут, а значит, и на меня, чего уж тут хорошего, тошнота, да и только. Нет, был бы дед, ходили бы они по квартире как миленькие и ругаться бы не подумали.

Сделал я себе яичницу с колбасой, съел ее, выпил стакан томатного сока и сел думать, что же мне делать. Что к Аллочке завтра никого не приведу, так это ерунда, она тетка отходчивая. Нет, что мне вообще де-

лать? Это все брехня, что человеку времени не хватает, мне вот порою его и девать некуда, а бегаю чего-то, кричу, что нет его, а самому над собой смешно, тоже мне, занятой человек. Хотя бы пришел, что ли, кто-нибудь, и то веселее бы стало.

Когда я в старой школе учился, то дверь у меня не переставая хлопала. Ребята там клевые были, и мне с ними интересно, и им со мною. А здесь класс какой-то ненормальный, это мне папочка удружил, сунул в заведение с филологическим уклоном, мол, раз ты сын писателя, так гены в тебе хоть как проявиться должны, от этого, мол, никуда не денешься! Я ему говорю:

— Папа, вы бы мне лучше братика там или сестричку соорудили, и то бы веселее стало.

А он:

— Ты же знаешь, как много ты для нас значишь, и потом...

— Связываться вам неохота «потом», — говорю ему, — ты как представишь снова все эти пеленки, распашонки, так тоска берет, ага? Вот и иди к себе в кабинет, вот и пиши там свои умные, талантливые книги, от этого хоть деньги будут...

Хотя вот это уж действительно брехня: как денег у нас не было таких, как его друзья заколачивают, так и не будет. Мать его все время за это пилит. «Что ты, — говорит, — думаешь, вон Витек Демичев за роман сколько получил? Вот то-то, а ты?» Я ей тоже один раз про братика там или сестричку загнул, просто так даже, ради смеха, а она мне в ответ целый час говорила про то, что не надо нищих плодить, вот если бы отец зарабатывал, как Витек Демичев или Костя Белоусов, так другое дело, хоть пятерых... Я ей тут в ответ, что пятерых мне не надо, что мне и одного бы хватило, с голоду не помрем, она ведь тоже работает, преподаватель, кандидат наук, в отпуск может во Францию съездить, а она как заревет и в спальню к себе убежала. Отец потом мне часа два

морали читал, что мое дело, что не мое, а по мне так — если мы одна семья, так все дела еще и мои, если они меня жить учат, то почему бы и мне их иногда не поучить, только вот скажи такое, сразу начнут ныть, что я жизни не знаю и вообще пока должен помалкивать.

Но что-то я далеко в сторону ушел. Так вот, как только мы переехали и пошли с отцом в новую школу, то он сразу директору выложил: сын, мол, у меня с литературными наклонностями, с гуманитарным складом ума, может, есть у вас какие-нибудь факультативы? А тот возьми да брякни, что целый класс есть, который по специальной программе занимается, двенадцать часов в неделю. Вот туда-то меня и запихнули. Парней всего пятеро, я шестым пришел. А если учесть, что в классе нас двадцать девять человек, то значит, девчонок у нас двадцать три. И все они на этой литературе помешаны или, по крайней мере, говорят, что помешаны. Только и слышишь: Пушкин, Маяковский, а вот вы читали последний роман Натали Саррот? Что последний, когда я и первого не читал, не для меня вся эта заумь, прежде всего надо в себе разобраться, а потом уже в книги лезть. А то — «литература учит, литература воспитывает...» Сам-то я на что? Правда, может, из-за этого они меня и недолюбливают, что я на их литературу чихать хотел, хотя, конечно, это вовсе не так, да и читаю побольше, чем некоторые, только вот не люблю я, когда про Пушкина и Маяковского на каждом перекрестке с пеною у рта, можно подумать, что если они свою начитанность не проявят, то их и за людей перестанут считать. Правда, литераторша у нас клевая, молоденькая еще, Натальей Осиповной зовут. Лицом так себе, зато глазищи огромные такие, зеленые с искорками. И умная, видит, что мне все их бредни до лампочки, и не пристает, ждет, когда сам к ним прибьюсь. А мне и так хорошо. Я ведь живу прежде всего, я люблю бродить по улицам, чтобы темень уже, народу мало и лишь фонари. Идешь так после десяти, нервничаешь

немного (вдруг какое-нибудь дерьмо привяжется), а все равно хорошо, мир каким-то свежим сразу становится, и все, что днем тебя мучило, вдруг ясно и понятно. Такое бывает, лишь когда засыпаешь или музыку слушаешь, даже не знаю, что лучше. Если засыпаешь, то когда в полудреме, а башка все равно работает, в такие минуты всегда что-нибудь интересное придумываешь, ну а музыка... Да что о ней говорить, есть она просто, и все тут, и навряд ли что-нибудь получше найдешь. А что вот тошно, так это то, что ни одна из этих морд со мною не сошлась до того, чтобы в гости прийти, сейчас, например, вся хата свободная, а я сижу один, как уличный пес. Нет, в той школе лучше было, сейчас бы все уже на головах ходили и Борька — это мой приятель из того класса — давно бы уже под гитару пел что-нибудь хорошее, брат у него есть, ему под тридцать, старик уже, но музыкант фирменный, так он Борьке столько песен показал — закачаешься. Мы к нему один раз на концерт ходили — никогда не забуду. Зал темный, душный, а их на сцене четверо, брат Борькин с гитарой вперед вышел и как начал играть, так вся толпа на уши встала, мы с Борькой тоже, а потом какая-то девушка запела и все замигало, дымы какие-то повалили, хотел бы я еще раз на такой концерт попасть. А ехать им сюда, ко мне, далеко, на другой конец города, пока дозвонишься, пока соберутся... Лучше уж соснуть часок, да потом пойти погулять, а может, и в школу зайду, там сегодня какое-то «внеклассное» мероприятие, что-то вроде на тему «Мои идеалы» или «Что такое любовь?». А и действительно, что это такое? Я как-то своего старика об этом спросил, так он сказал, что думает над этим лет сорок, а понять так и не может. Куда уж этим сопелкам, если отец мой и то допереть не может, а он все-таки писатель, знаток человеческих душ.

Я все-таки решил пойти. Тоскливо сидеть одному дома в такую погоду, когда март катится к концу и вот-вот да наступит тот день, когда можно снять шапку, самый долгожданный для меня день в году, когда все становится иным — роднее и ближе.

Ребятки наши уже собрались. Не все, правда, но основная группочка здесь, и, по всей видимости, довольно давно. Я сменил достаточно школ, чтобы уяснить для себя одну вещь — в такую вот группировочку, а есть она в любом классе, пришлому никогда не попасть. Даже подружиться сможешь со всеми по отдельности, но чтобы войти — дудки, как любит говорить наша лапонька Аллочка, дудки, и никаких гвоздей! А здесь эта группировочка отличается еще и интеллектуальными замашками. Все — будущие гении, один стихи пишет, другой балдеет на темы поэзии своего друга, третий по холсту кисточкой мажет и все рассуждает, что вот голубой период Пикассо — дрянь, а кубистические штучки его — гениально. Слово это они очень уж любят. Всех в одну кучу, и все гении. Я ничего, конечно, против не имею, только, как говорится в одной хорошей пьесе, — живите по мне хоть с золотой рыбкой, но не орите об этом на каждом перекрестке.

Меня они, по всей видимости, не ждали. Перцов Эдька аж глаза вылупил и плечом в мою сторону повел. Вроде бы — и чего, други, к нам этот мэн приперся, никогда ведь не благодетельствовал нашу узкую компанию своим появлением. Вошел я, значит, осмотрелся и сел за свою парту, как раз у окна. На меня они уже внимания не обращают, треплются между собой о вчерашней дискотеке, что была в клубе где-то неподалеку от школы. Народ подтягивается, все Наталью ждут, только вот Осиповна наша где-то запропастилась, толпа шаять начинает, правда

еще понемногу, но чувствуется — полчаса, и все, быть по-
жару.

Тут как раз медленной такой, плавной походкой входит наша прима, Леночка Моисеева. Вся тоненькая, штан на ней вельветовый, фирмовый, плотно бедра обтягивает, грудь под кофточкой красиво обрисовывается, да не просто обрисовывается, а такое ощущение, что она под эту кофточку больше ничего и не надела. Глаза намазаны, но в меру, а волосы каштановые красиво так по плечам рассыпались. Она, пожалуй, у нас единственная, кто без стрижки ходит, но ей от этого только лучше, да и стриженных этих сейчас — куда ни глянь, сам я, впрочем, тоже такой, волосы ежиком, уши торчком. Ну так вот, как только она вошла, все на нее сразу и выпятились, не я один. Стоим, смотрим, она и говорит:

— Что, шизнулись, что ли, чего уставились?

Тут Эдька:

— Знаешь, Ленка, Наталья где-то сгинула, тайма уже до черта, а мы торчим здесь, и ни в одном глазу, свалить бы куда-нибудь всем вместе.

— Всем?

— Всем, и Темкина с собой взять можем.

Ну, думаю, поросенок, будто я и впрямь изгой какой-то, решили мне одолжение сделать; думаю, а знаю, что все равно соглашусь, делать-то нечего.

— А Наталья точно не придет?

— Да кто ее знает, но уже на полчаса опаздывает, не меньше.

— Да, — говорит, — ребятки, она у нас точная, значит, не смогла. Что, пошли тогда ко мне, у меня хата свободная, родители в отпуск свалили, сестра дома одна, да и та куда-то намыливается, к парню своему, видимо.

— А что делать будем?

— А что ни делай, здесь все равно тоскливее, посидим у меня, музон послушаем, сестра вчера что-то новенькое притащила...

«Впрямь,— думаю,— попал с корабля на бал, классно она это загнула, чтобы к ней все пошли, я хотя и делаю вид, что ничего, мол, и один выдержу, так одному в любом случае плохо, даже с этими крестинами и то — веселее». Думаю так, хотя знаю, что будет не совсем и веселое: треп пойдет, о штанах фирменных, о музоне, а какой это музон, когда слушать его тощища, все же Борькин брательник здорово меня поднатаскал, чего я только дома у них не переслушал, в этом хоть да разбираюсь. А потом топтаться начнем, потопчемся, потреплемся, опять потопчемся и снова потреплемся, а там, глядишь, и домой пора...

— Ты что,— говорят,— Темкин, уснуть здесь решил? Идем уже.

— Ну пошли...

Топать до Ленкиной квартиры недалеко, минут десять. Живет она в одном из этих старых больших домов, что неподалеку от школы. Зашли в квартиру, и я присвистнул, про себя, правда. Квартирища у них громадная, потолки высоченные, четыре комнаты, все полировкой, хрусталем забито, одна стена вся в книгах, но книги какие-то странные, как специально чем-то покрашенные, или мне так показалось, но у нас-то все по-другому, хотя книг больше. Зайдешь в отцовский кабинет, у него три стены в книгах, а у четвертой, в которой окно и которая на улицу выходит, его письменный стол стоит и тоже — книгами завален. Но таких новеньких и блестящих у нас нет, впрочем, как и таких картин: от рам золотом за километр несет, а холсты все темные и что-то на них такое неясное, будто пылью специально припорошено. Огляделись мы, значит, шузы и куртки поскидали, прошли в Ленкину комнату, она сразу нам музыку включила и пошла чай ставить. Тут к нам в дверь ее сестра заглянула — стильная такая баба, в коже вся и в чем-то еще таком, фирмовом.

— Вы,— говорит,— мальчики-девочки, ведите себя о'кей, не хулиганьте и не буяньте, знаю я вас, нынешнее поколение,— сказала так и исчезла, будто сама нас на кучу лет старше, а на самом-то деле, как потом я узнал, она старше Ленки всего на десять лет, ну да это так, к слову.

Сижу я, значит, осматриваюсь в комнате. По стенам, естественно, постеры развешаны, на одном четверо мужиков бритоголовых, в куртках кожаных, оседлали они мотоциклы и прямо на объектив наярившись. На другом то ли Делон, то ли кто-то на него похожий, и куча, значит, фотографий поменьше рядышком прилеплена. В общем, ничего комнатка, в духе. Магнитофон все играет (что́ вот только, никак понять не могу), Ленка чашки достала, но все еще как-то скованно сидят, кто на диване, кто в кресла, как я, взгромоздился. Тут вдруг Эдик за интеллект поливать начал, он всегда эдакого интеллектуального типа из себя любит изображать, родители у него больно умные, постоянно по границам шныряют и его умом своим пичкают.

— «Чума»,— говорит вдруг,— произведение архигуманистическое, несмотря на свой внешний пессимизм, она дает нам жизнеутверждающую концепцию жизни...

— Чего-чего?— тут на него сразу все поднялись.— Завяжи ты, Эд, дребедень нести, здесь тебе за это пятерку не поставят.— Мне его, беднягу, даже жаль стало.

Тут и топтаться начали. Они топчутся, а я сижу себе и по сторонам зыркаю, на аквариум, что у окна стоит, поглядываю, давно я аквариумов не видел. А у них он приличный, литров на сто, и рыбки все забавные — скалярии, неоновые, гурами. Подходит ко мне Танька Филиппова, дылда наша классная, и говорит:

— Чего ты, Темкин, пришел и в углу сидишь? Или не нравится тебе здесь, с нами?

— Отчего же,— отвечаю,— не нравится, очень даже нравится, только ведь я вообще такой, некоммуникабель-

ный. Сижу вот, на вас смотрю, на рыбок, всем хорошо.

— Пошли,— говорит,— лучше, Темкин, танцевать.

— А чего ты,— говорю,— меня по фамилии называешь?

— Не нравится, что ли?

— Почему не нравится, только имя — оно имя и есть.

— Ладно,— говорит,— Дима, извини, так что, пойдем?

Ну и стали мы топтаться все вместе, в кружочке, не так, конечно, как на дискотеке, но все же весело стало, почти как в том моем классе, хотя, честно говоря, все равно не так, там ведь все родными были, а здесь они-то родные, а я — сбоку припека.

Потоптались минут двадцать, решили дух перевести, опять скучно стало, молчание какое-то повисло, парни всякую ахинею понесли, а Эдик сидит в углу, грустный такой, достал сигарету и курит. Жалко мне его снова стало, и решил я ему подыграть, немножко, чуть-чуть. Подхожу к нему и говорю:

— Знаете, Эдуард, я в корне не согласен с вами в оценке романа Альбера Камю «Чума». Мне кажется, что гомологичность структуры внутренней реальности этого произведения неадекватна творческому методу художника (так старик мой недавно кому-то по телефону загнул, о другом, конечно, но сейчас-то мне какая разница?).

— Чего-чего? — Эдик даже дымом поперхнулся.

— Да ничего,— отвечаю,— а чушь все это собачья.

Тут он как заржет, все на нас и уставились.

— Ну,— говорит,— Темкин, ты голова, как это — «гомологичность структуры»?..

— Да,— говорю,— но это все семечки. Что ты можешь, например, сказать насчет спонтанного метода иррационального познания с критической интерпретацией бредовых ассоциаций в творчестве С. Дали? (Это я опять старика вспомнил, точнее даже — книжку одну из его библиотеки, в которой это вычитал.)

— С. Дали, говоришь?

— Да-да, его самого.

— Дали вдали! — продекламировал он, и тут все засмеялись, и я тоже.

А потом мы перешли в большую комнату, видимо, гостиную, и Ленка открыла бар, вделанный в электрокамин, знаете, есть такие глупейшие ящики, от которых ни тепла, ни настроения, одно пижонство и видимость, и мы быстро помогли ей выставить часть его содержимого на стол, слава богу, что было только вино, сухое и марочное, а то я не люблю, когда напиваются. Девчонки наши как выпили, так тоже закурили, и тут треп между нами пошел наимприятнейший, но заставь меня сейчас рассказать, о чем мы тогда говорили, — не вспомню, как ни просите. А потом смотрю, все уже парочками, Мишка Фрязин, профессорский сынок, красавчик весь из себя, Ленку облапал, Филиппова к Сережке Тимохину привалилась. «Э, — думаю, — детки, пора мне отсюда топать, вы парочками, я же один, вот когда и ко мне кто-нибудь так привалится, тогда и остаться можно будет, а сейчас надо топать...» Встал я и пошел уже было к двери, как Мишка и говорит:

— Темкин, куда это ты в такую рань, или дома ждут?

«Ну, — думаю, — заразы, раскусил я немного вашу гениальную сущность, трепачи несчастные, сейчас я вам выдам».

— Нет, — говорю, — Мишель, — и вкусно так это говорю, стараясь картавить, как мамина подруга Эллочка, у которой, по маминым же словам, «настоящий французский акцент», — нет, — говорю, — Мишель, дома меня никто не ждет, лишь работа. Вы веселитесь, танцуйте, а мне надо идти, мне по плану сегодня еще десять страниц написать надо.

— Чего? — удивленно так выпятилась Ленка.

— Пьесы, Аленушка, — как можно ласковее отвечаю ей, — видите ли, милые мои, я пишу пьесу...

Хотя все это было, конечно, брехней. Я их не то что писать, я их и читать-то не терплю, пьесы эти. Подсунул мне вот папаша недавно одну, называется очень уж заманчиво: «Кто боится Вирджинии Вулф». Написал ее тоже какой-то гений, Олби его фамилия. В зелененькой книжечке, с золотым тиснением на обложке. Красиво так написано: «Эдвард Олби. «Смерть Бесси Смит» и другие пьесы». Подвалил ко мне отец вечером, они с маман как раз в эти дни опять лаяться начали, а когда они лаются, так отец к вечеру уже поддатый ходит и все мне что-нибудь почитать всучить старается, духовно вроде бы меня воспитывает. Так и в этот раз. Дал он мне эту книжечку и завалился спать, а я сижу в его кабинете и пытаюсь понять, что к чему и кто это боится Вирджинии Вулф. Не скажу, чтобы пьеса эта мне здорово не понравилась, нет, Джордж этот — мужик ничего, да и Марта, его жена, хоть и стерва, но что-то в ней есть, правда, сразу, как прочитаешь, такая тоска берет, хоть в петлю, слишком уж все поганым кажется. Я как-то к отцу пристал:

— Слушай, па,— говорю,— почему все вы, писатели, стремитесь на человека побольше всякой дряни выплеснуть?

— А это,— отвечает,— называется испытанием на прочность.— А потом уже серьезно: — Видишь, всегда ведь хочется узнать, на что человек способен как личность, как индивидуум, и чем больше наваливаешь на него всяческих страстей и испытаний, тем более проявляется его человеческая сущность.

Тут ему как раз позвонили, и он закруглился, хотя я так до конца и не понял, что он все-таки имел в виду, ведь испытывает-то он своего героя, а при чем здесь реальный, живой, такой, к примеру, как я? Прочитал вот я этого Олби, ну и что? Олби-то ведь их испытывал, а я здесь при чем?

Так вот и лег я спать, думая об этих пьесах и о том, что ни в жизнь мне ни одну не написать, меня ведь от одного вида бумаги тоска берет, хватит с семейки одного бумагомарателя, пусть он даже и хороший писатель. От этих писателей вообще толку никакого, только мозги людям пудрят своими бреднями. Правда, отец, когда я так говорить начинаю, сразу в истерику впадает и начинает вопить на всю квартиру: кого, мол, я породил, что это за человек, который начисто отрицает ценности человеческого духа, да что ты в жизни сможешь сделать, если для тебя начисто отсутствует литература, этот самый лучший друг и воспитатель!

— Вот-вот,— говорю ему,— именно что воспитатель, с меня школы и вас хватит, а ты еще литературу сюда, нет уж, как-нибудь обойдемся!

Тут и матушка начинает свою песню: мне стыдно за тебя, Дима, как в нашей семье мог вырасти такой человек, тебе и в институт-то никогда не поступить!..

Так я и знал, что все к этому сведется, будто вся цель моей жизни — это в институт поступить и стать дипломированным специалистом, без этого вроде бы я и не человек.

— А я,— говорю,— и не хочу никуда поступать, мне и так хорошо, работа мне и без института найдется, так что нечего и паниковать! — Тут они оба в крик, мать, как всегда, в слезы, тоска, одним словом...

Значит, так вот и лег я спать, отбарабанил свои восемь часов на подушке и снова — вперед, к светочам знаний. Пришел в класс, как всегда, минут за пять до звонка, сел себе и сию. Тут Ленка подходит и говорит:

— Темкин, можно сегодня с тобой посидеть, а?

— Что же,— отвечаю,— садись, гостьей будешь.— А самому интересно стало, чего это наша фемина решила со мною в более тесный контакт войти. Тут звонок, вбегает Наташа и начинает что-то вещать про большие и чистые идеи. А Ленка сидит, слушает, что-то в тетрадке

царапает. Заглянул я ей через плечо, а там треугольники, кружки да чертики, большие и маленькие.

— Слушай,— вдруг говорит мне она шепотом,— Темкин, а что ты за пьесу пишешь?

«А,— думаю,— интеллектуалы проклятые, затронул я вас вчера все же».— Да так,— говорю,— долго рассказывать, Наташе помешаю.

— А ты на бумажке напиши.

— Ну вот еще, лучше давай после уроков, а? — А сам смотрю и думаю, что если пойдет, так, значит, действительно дура, хотя и красивая, надо же из-за какой-то чуши так человеком заинтересоваться. Она же возьми и скажи:

— Давай, Дима, тем более что на улице прелесть...

Само слово это не выношу — прелесть. Мать чуть что, так сразу — это прелесть, то прелесть, сё прелесть, а по моему, не прелесть все это, а дурь собачья, если тебе что-то нравится, именно тебе, а ты об этом встречному-поперечному языком треплешь.

Согласилась, значит, она и на следующий урок уже от меня отсела. Мне так даже лучше, впрочем, больше места и никто под локоть не заглядывает, чем ты занимаешься. Тут меня как раз Аллочка к себе вызвала:

— Что, Темкин,— говорит,— где же твоя мама?

— В Ленинграде,— отвечаю.

— Опять врешь.

— Да нет, что вы, чистая правда!

— Не верю я тебе, а отец где?

— А вы,— говорю,— мать же просили, да потом, его тоже в городе нет, он в доме творчества.— Впрочем, это я уже так, чтобы на ее сознательность воздействовать.

— И опять не верю, Темкин,— говорит Аллочка,— я вам сама позвоню.

— Звоните,— отвечаю,— Алла Максимовна, только ничего вы не вызвоните, так как мои предки действительно уехали, оставив меня без своего родительского надзора.

— Ладно уж, Темкин, иди, будем считать, что ты человек самостоятельный, все поймешь, прочувствуешь и сделаешь нужные выводы.

— Конечно,— говорю,— сделаю, Алла Максимовна, всем выводам выводы будут!

— Иди уж,— говорит,— Темкин, и давай с тобой больше на этой почве не встречаться.

«Ладно,— думаю,— ни на этой, ни на какой другой я бы тебя видеть не хотел».

Тут звонок как раз, так что я снова в класс поперся. Досидел уроки, взял куртку и вышел на улицу. Хожу возле школы, жду. Тепло, солнышко мартовское греет, капель вовсю по земле барабанит, и точно уж придет скоро тот блаженный день, когда можно снять шапку. Тут и Ленка появилась, в светлом таком пальто, кепочка на глаза надвинута.

— Знаешь,— говорит,— Дима, давай с тобой через час встретимся. Мне переодеться надо, да потом и есть хочется.

— Что же, Леночка,— отвечаю,— через час так через час, только вот где?

— А давай,— говорит,— в центре, у памятника.

— У памятника так у памятника...— а сам думаю, что есть действительно хочется, только у меня, наверное, от этой яичницы скоро заворот кишок будет, вчера на обед, на ужин, сегодня на завтрак... Но ничего, там еще консервы есть, лучше их слопаю...

Разбежались мы так, а через час я ее уже жду. Сам тоже переоделся, джинсы надел, свитер под куртку и сумку кожаную через плечо, для понта. Тут и она приходит, в куртке бирюзовой, с капюшоном, в джинсиках и тоже с сумкой. Посмотрела на меня и говорит:

— А ты ничего, Темкин, очень даже симпатичный.

— Покупай,— буркаю ей,— а то раздумаю.

— Только грубиян ты,— говорит,— а еще пьесу пишешь, а еще отец писатель...

— А мать,— добавляю,— кандидат наук. Но это все лажа,— говорю,— дед у меня доктор наук, профессор, в молодости к Мейерхольду, был такой знаменитый режиссер, учиться поступал.

— Ну и как? — заинтересовалась. — Поступил?

— Да,— говорю,— только не понравилось.

— А мне бы понравилось, наверное.

А я ничего не отвечаю, как ей втолковать, что деду-то понравилось, да денег у него не было. Его причем от платы за учебу — курсы эти, они платные были — освободили, а стипендий там никаких, жить на что-то надо, вот он и ушел туда, где стипендии были, в сельхозакадемию. А потом уже пед, мед, так и стал в конце концов доктором наук.

— Куда же мы пойдем, Дима? — спрашивает она.

— Ты же гулять хотела, вот и пойдем просто гулять.

Так и потопали мы вверх по проспекту. Я ее под руку взял, чтобы не думала, что тюлень, тем более ее приятно было под руку держать. Красивую девчонку всегда приятно держать под руку: идете, все на нее пялятся, а вроде бы и на тебя заодно.

— Ну,— говорит,— Дима, что ты за пьесу пишешь?

— А зачем,— спрашиваю,— тебе это надо?

— А у нас,— говорит,— свой театр есть. Вдруг мы ее поставим.

— Нет,— отвечаю,— не поставите, пьеса моя сложная, философская, пьеса-притча, вам ее вовек не сыграть, причем,— говорю,— секс там есть, ты, что ли, секс на сцене изображать будешь?

А она так улыбнулась лукаво и как снежок в меня бросила:

— А почему ты думаешь,— говорит,— что я секс сыграть не смогу?

— А им,— говорю,— не играют, им живут.

И тут молчание какое-то между нами повисло, как паутина, когда идешь по августовскому лесу, а она тебе все

лицо облепляет, сдирай-сдирай, а толку не будет, все равно липким оттуда выберешься.

— Так все же о чем,— вдруг говорит,— пьеса твоя?

«Ладно,— думаю,— сейчас я тебе такую лапшу на уши повешу, что рада не будешь». — Так уж и быть,— говорю,— тебе расскажу, только знаешь, никому не трепи об этом, потом уже, когда кончу, тогда можно, а то пока я еще на середине второго акта, творчество же штука хитрая, вдруг сглазят! Ситуация,— продолжаю,— такая. Приезжает один человек в маленький городок, такой маленький, что ни фабрик там, ни заводов, ничего нет, просто конторы какие-то, автостанция, даже суда своего нет, судиться и то к соседям едут. А приезжает он туда просто так, от нечего делать, у него какой-то кризис, понимаешь? А когда такое с человеком случается, то он готов от самого себя хоть в ад убежать, лишь бы забыться.— Говорю, а сам на нее краешком глаза посматриваю. Ничего, слушает, интересно, значит.— Вот он приезжает, останавливается там в гостинице, в маленькой такой, двухэтажной, и живет себе. Завтракает, обедает, ужинает, а между приемами пищи спит. Люди же, которые в этом городке живут, никак не могут взять в толк, чего это он к ним приехал, ни курорта здесь, ни дома отдыха, дел у него никаких, да и какие дела могут быть у приезжего в этой дыре? И начинают они его ненавидеть, понимаешь, просто так, ни за что, понять они его не могут, вот и ненавидят. А самым интересно — что он да кто. Человечи ведь народ любопытный, их хлебом не корми, дай в замочную скважину поглядеть. Шастать к нему в номер начинают, мужики, женщины. Мужики с ним водку пьют, женщины спят, может, думают, хоть в постели он проговорится, скажет, что его сюда принесло. А он молчит себе и молчит, только все время думает о чем-то. А потом в него девчонка одна влюбляется, хорошая такая, молоденькая, вроде тебя. Ей самой в этой дыре сидеть невмogu, и тянет ее в другие места, а иначе, чем с ним, не

выберешься, да и парень он симпатичный, что не влюбиться? А он не едет все никуда, все сидит в своей гостинице и сидит, ждет неизвестно чего. А его все больше и больше ненавидят, даже девчонка эта в конце концов его ненавидеть стала. Друг на друга жители этого городка уже смотреть не могут, так их этот тип взвинтил. Вот и решили они, что если он сам не сматывается, так его убрать надо. А тут как раз охота начинается, его тоже пригласили. Он поехал, а ему в спину две пули и засадили, наповал. Все равно ведь его никто не ищет, кому этот тип нужен. А девчонка, которая его любила вроде бы, так она за убийцу замуж выскочила и стала самой популярной женщиной в городе. Вот,—говорю,—и все.

Идем, у меня сил говорить никаких нету, давно языком так чужь не молол, как сегодня, а Ленка тоже что-то молчит, на меня не смотрит, думает, видимо, сразу мне в глаза за брехню плюнуть или подождать, пока зрители соберутся. Шли мы так, шли, тут она и говорит:

— Давай, Дима, посидим на лавочке, ноги устали.

Сели, сидим. Чувствую, сейчас начнет. Так и есть.

— Мне понравилось,—говорит,—знаешь, мне даже очень понравилось, только страшно это, я не понимаю, зачем тебе писать такую страшную пьесу, ведь в любом произведении искусства просвет должен быть, а у тебя все плохо. И потом — как ты все это передашь в драматургической форме, не понимаю.

— Это,—говорю,—ерунда, в форме этой самой что угодно передать можно, если голова на плечах да в голове что-нибудь есть, хоть самая малость.—Уверенно так говорю, с понтом.—А что страшно, так на то и произведение искусства, чтобы обобщать и гиперболизировать. Меня вот заинтересовала эта тема, я ее взял да и гиперболизировал.

— Все равно страшно! — говорит мне Ленка, а сама прижалась ко мне, и волосы ее мою щеку щекотят. А потом вдруг внезапно: — Ты обними меня, Темкин, а то я тебя бояться начну, а мне этого совсем не хочется.

Обнял я ее, а она уже лицо ко мне повернула, и губы ее близко-близко, так близко, что не хочешь, да все равно целовать начнешь.

4.

Такие вот штуки выкидывает иногда с нами судьба. Сидели мы с ней, целовались, пока оба не задрогли, потом пошел я ее домой провожать. Шел и думал, что доведу до дверей, и все — прощай, Темкин, поразвлекались, и будет, а она, как вошли в подъезд, снова прижалась ко мне, и давай мы опять целоваться. Потом на часы посмотрела и говорит:

— Знаешь, Дима, мне домой пора, уроки ведь тоже делать надо, но вечером встретимся, а?

А и так уже почти вечер, шестой час. Но мне и самому посмотреть хочется, чем все это кончится.

— Конечно,— говорю,— только где?

— А дискотека сегодня в «Молодежке», да концерт там еще будет, сестра мне билеты еще вчера предлагала, у ее парня связи знаешь какие? Пойдем?

— С превеликим,— отвечаю,— удовольствием.

— Ну вот и хорошо, пока! — Чмокнула меня в щеку и наверх по лестнице побежала, остановилась посредине пролета, вниз через перила голову свесила и вдруг тихо-тихо так говорит, так тихо, как ветер траву в июньский полдень колышет: — А знаешь, Темкин, я ведь тебя люблю...

Сказала и убежала, а я чувствую, как лицо у меня сразу вспыхнуло. «Ну,— думаю,— доигрался. Все посторонний да посторонний, а тут — люблю». Иду домой и все об этом думаю. Странно все-таки. Ведь я ей даже никогда не намекал, что она мне нравится, а она возьми да поце-

луй, да еще ляпни вдобавок, что любит. И уверенно, главное, так, будто отказа никогда и ни от кого услышать не может. И в то же время не верится, что для нее все это просто так, хобби, бзик на час, хотя это-то сразу и не скажешь. Просто все очень быстро произошло, а когда что-то происходит очень быстро, то мгновенно может и кончиться.

Прихожу домой, а там телефон надрывается, междугородная. Маман из Ленинграда звонит, беспокоится, видите ли, как я здесь один-одинешенек, всеми ими брошенный.

— Ничего,— говорю,— мама, не волнуйся, у меня все в ажуре, тебе от Аллы Максимовны большой привет, очень она мною довольна!

Маман сразу же обрадовалась, даже голос добрее стал. «Молодец,— говорит,— так и надо, Димочка, тебе вот от тети Веры привет, она тебя тоже любит и целует». Так мы и поговорили, при чем здесь тетя Вера, мамина сестра, я вообще не понял, но маман всегда так — ничего понять нельзя, кроме того, что мы с отцом ее молодость и красоту сгубили, а уж это полная лажа, она до сих пор так смотрится, что все мужики на улице от нее балдеют, но чтобы не понять, не пожаловаться — так нельзя, у нас так не принято, пусть все нас пожалеют!

Положил я трубку, а потом снова снял — решил Ленке позвонить. Телефона она мне своего не дала, так на что телефонный справочник, тем более что адрес-то я знаю. Нашел я номер, набрал, сама она трубку взяла и говорит так недовольно:

— Алло, вам кого?

— Тебя,— говорю,— Ленка, если это действительно ты.

— Темкин? Откуда у тебя мой номер?

— А справочник на что?

— Молодец ты, Димка, умный.

— Слушай, Ленка,— говорю я, хотя знаю, что сейчас такое скажу, чего ни один нормальный человек себе не позволит, ведь это значит себя в дурном свете выставить,

но не могу не сказать, знаю, что не надо, а вопрос уже сам в трубку выпрыгивает,— слушай, Ленка,— говорю,— а это вправду, что ты меня любишь?

— Дурак,— говорит,— ты, Темкин, такими словами не бросаются, раз сказала, что люблю, значит, так оно и есть.

— Это хорошо,— говорю я ей,— это даже очень хорошо, только вот что ты во мне нашла?

— А ты не такой,— говорит она мне,— понимаешь, не такой, как все, в тебе что-то такое есть, чего ни в ком другом из тех, кого знаю, нет. Я это сразу заметила.

— Ладно,— говорю,— трепаться, обойдемся без комплиментов, ты лучше скажи, когда встретимся?

— А вот одевайся,— говорит,— и иди на остановку, я минут через десять буду.— А потом, помолчав мгновение: — слушай, Димка, а как твоя пьеса называется?

«Ну,— думаю,— далась ей эта пьеса, ладно, содержание придумал, так неужели название меня остановит?» Так и есть, мелькнуло что-то в голове.— «Мышка-норушка.— говорю,— и луна в полдень».

— Это как понять?

— А тип тот, главный герой, девчонку свою мышкой-норушкой звал, а луна в полдень — это вроде того, что не было в его жизни дней, а сплошные ночи.

— Ну, Темкин,— говорит,— умница ты все же, так я одеваюсь.

И гудки в трубке. Бип-бип, бип-бип, будто кто в мою сторону спутник запустил...

Подхожу к остановке, а она уже там стоит, еще красивее, чем днем. Впрочем, с тех пор столько всего произошло, что не могла она мне еще красивее не показаться. Дождались мы трамвая, сели, значит, и попилили через весь город. Стоим на задней площадке и молчим, а вот чего молчим — не знаю, просто молчим и смотрим друг на друга. Пока смотрели — уже и доехали, времени почти восемь, до начала минут пять осталось, бегом, бегом и в двери. Разделись, смотрю на нее и балдею: в клево

она таком бархатном штане, блекло-коричневом, весь он у нее в лэйблах, места живого нет, рубашка черная, галстучек светлый, почти белый, и коричневый же джемпер, только темный. Классно она смотрелась, все вокруг сразу пялиться начали. А я опять в своих старых штанах, только куртку кожаную надел, которую мне отец из Англии привез. Это даже не кожа, а что-то среднее между кожей и замшей, красивая куртка.

Вошли мы, народу тьма, знакомых же — никого. Дупно, музыка еще не играет, а в воздухе что-то такое будоражащее, как всегда перед тем, что тебя волнует. А ведь музыка всех волнует, впрочем — кого какая. Я почему-то старье больше люблю, но здесь этого не услышишь, хотя если подумать, то для топання местный музон в самый раз, на мозги не капает, лишь в ногах отдается.

Тут какой-то ферт, весь в коже, в сапогах ковбойских, к пульту подтопал, кнопки понажимал, и началось. Мигалки сразу заработали, прожектора то вспыхнут, то погаснут, синий, красный, желтый, зеленый, синий, красный, желтый, зеленый, и снова мигалки, и снова прожектора, а музон — со всех сторон, и все топчутся, пот со всех льет, и с нас с Ленкой тоже, и опять прожектора вдарили, только вещь уже другая пошла, впрочем, их и не различишь обычно на танцах, вещи эти, но хуже от этого они не становятся, просто танцуешь, балдеешь, и все. Другое дело, когда слушаешь, тогда ведь музыка по-иному воспринимается, да и слушаешь-то настоящий рок, а не шелуху всякую. Под шелуху лишь танцевать можно. Думаю я, значит, обо всем этом, танцую, смотрю — а глаза у Ленки куда-то как бы запали, в аут она ушла, одним словом, ну, тут мне совсем хорошо стало, я еще жару поддал, да и вещь диск-жокей этот побойчее поставил, а мигалки уже на самую полную запустил, темно, и лишь тени наши мерцают, а потом вновь нет их и снова — темнота.

Потанцевали мы так, потанцевали, чувствую, надоело мне что-то, да и перерыв как раз объявили. Предложил я Ленке все же пойти на концерт, сама ведь она мне об этом говорила, днем еще, да и идти далеко не надо, подняться по лестнице да в зал войти. Но ей вдруг как что-то под хвост попало, не хочу, говорит, и все тут. А уже почти девять и начало-то через несколько минут. Взмолился я:

— Ленка,— говорю,— пойдем все же, не понравится, обратно спустимся, отдохнем хоть, посидим,— не могу ведь я ей признаться, что не совсем мне этот музон нравится, сам не знаю почему, но не очень я его люблю. Согласилась она, значит, и пошли мы с ней в зал. Народу набилось, как оказалось, полно, еле местечко себе нашли. Сидим, тихо пока, прохладно, на сцене какие-то люди шастают и провода с места на место перетаскивают. А потом... А потом вдруг как со мной что-то случилось, ну, будто уснул, что ли, и проснулся лишь, когда все кончилось, не знаю, почему так произошло, но ощущение у меня было, как под первый летний дождь попал, до того здорово.

Началось все с того, что свет погас. Темно, значит, тихо, и чувствуешь, как напряжение откуда-то изнутри прямо к горлу подкатывает, со мной так всегда бывает, когда знаю, что клево будет. Сидим, значит, ждем, потные уже, она-то, впрочем, не знаю как, но с меня в три ручья льет. И тут вдруг они, те, что на сцене были, взяли первый аккорд. Это был даже не аккорд, просто лавина музыки обрушилась на зал, все мое тело задрожало с ней в такт, волны перекатывались с ног до головы, и тут на сцене врубили два прожектора, один фиолетовый и один красный, слева и справа. А волны продолжали идти и идти, и тут вокалист вышел вперед с микрофоном и запел, двигаясь под какой-то собственный, внутренний ритм, но было это так классно, что я не выдержал и закричал, и закричали многие в зале, Ленка тоже закри-

чала, а крики наши подхватила гитара и стала что-то играть, что-то очень жесткое и как бы очищающее, может, это надо было назвать и не так, но ощущение у меня было именно такое. Слова же были какие-то странные, и мне от слов этих стало не по себе, будто сделал что-то такое пакостное-пакостное и тебе сейчас об этом сказали, и ты понял, что был не прав, но обратного ходу нет и остается лишь понимать все это и надеяться на то, что, может, да что-нибудь сможешь изменить, улучшить, а пока сиди и принимай все это со сцены. И мне вдруг стало тошно: еще ведь недавно топтался под то, что и музыкой-то трудно назвать, но топтался, и все топтались, и все балдели, а тут на сцене происходило что-то такое, чего я не мог понять полностью, но что потрясало меня, и я снова закричал, но музыка вдруг оборвалась, и гитарист, светловолосый такой, с бородкой, сказал в микрофон «спасибо». А потом они заиграли снова, прожектора направили на барабанщика, и тень его выросла на заднике до огромных размеров, он властвовал над всеми нами, вбивал нас своим жестким ритмом куда-то почти в самый центр Земли, а гитары и вокал кидали нам спасительные мостики, и мы пытались выбраться, но барабанщик снова сбрасывал нас с них, и мы летели, летели, и было это так здорово, и все мы вскочили на ноги, и на сцене зажегся полный свет, и музыканты стали благодарить нас, а мы хлопали и просили, чтобы они играли еще. Когда же концерт действительно кончился, то куртку мою можно было выжимать, и тело стало легким-легким, как и душа.

Мы шли с Ленкой к остановке и молчали, почти так же, как в трамвае, когда ехали во Дворец. Но сейчас мы вдруг стали с ней как-то по отдельности друг от друга (может, музыка тому виной?), и я обнял ее за плечи и сказал, что как хорошо, что она меня сюда вытащила, что все классно было, и танцы, и, конечно, концерт. Но ей концерт, оказывается, не понравился, она не смогла

объяснить почему, просто сказала, что не понравился, и все, но руку мою с плеча не сняла. Тут и трамвай подошел, и мы снова поехали, но уже в сторону дома. Стемнело, фонари везде зажглись, мы стояли опять на задней площадке и обнимались, и я даже пару раз поцеловал ее, хотел и в третий, но она сказала — подожди, и вот мы уже снова на улице и подходим к ее подъезду, заходим, темно, лампочки не горят, и тут мы начинаем целоваться, долго-долго, у меня аж губы заболели.

— Ладно,— вдруг говорит она,— Димка, поздно ведь уже, домой пора, поцелуй меня еще раз и беги! — И так властно говорит, как со мной еще ни одна девчонка не разговаривала, но я не обиделся, нет, просто у меня в груди все сжалось и так тепло стало, будто она пубу на меня накинула, а вокруг мороз под тридцать. Что же, поцеловал я ее на прощание, пожелал спокойной ночи, и побежала Леночка моя вверх по лестнице, а я домой потопал, договорившись, что она меня в семь телефонным звонком разбудит и доброго утра пожелает.

— Если ты кого-нибудь любишь,— сказала она мне,— то ты всегда должен говорить этому человеку «доброе утро», это главное, чтобы в любви утро всегда было добрым!

5.

Не знаю, может, Ленка и хорошо спала в ту ночь, а я так глаз и не сомкнул. Все ворочался и ворочался с боку на бок, всякая дурь в голову лезла, в основном почему-то дискотека эта, будто снова я в том зале, только совершенно один, и по стенам зеркала, огромные, от пола до потолка, множество зеркал, штук сто, если не больше. Мигалок нет, одни прожектора — синий, зеленый, красный, желтый, синий, зеленый, красный, желтый,— и ритм этот

чугунный в пятки вбивается, и топчусь я, топчусь, а зеркала полыхают как-то мрачно и меня отражают в старых этих штанах и в кожаной куртке, только вот шея почему-то шарфом замотана, будто горло болит. В общем, ворочался я так, ворочался, а часа где-то в три, поняв, что навряд ли усну, встал и пошел к отцу в кабинет покурить. Вообще-то я не курю, так, редко когда возьмешь сигарету, обычно в компании, но тут мне действительно приспичило. Открыл я отцовский стол, достал из ящика заначку и сел дымить. Курю, пытаюсь понять, что же это со мною все-таки стряслось, вроде как ходил человек всю жизнь на голове, а его взяли да в один прекрасный день и поставили на ноги. А главное — непонятно, за что это она ко мне так, ведь до позавчерашнего дня редко когда друг другу и слово-то говорили, а тут — вспомнить страшно, вдруг это все исчезнет и никогда больше не повторится. Я даже за телефон схватился, но вовремя вспомнил, что ночь на дворе и грешно человека будить лишь для того, чтобы узнать, не подшутил ли он над тобой. Хотя какие это могут быть шуточки!

Сидел я так, сидел, да и уснул прямо в кресле. Проснулся уже от Ленкиного звонка, она даже обиделась, что голос у меня по телефону такой квелый, сама, поди, дрыхла как ни в чем не бывало, ее бы на мое место. Ладно, пожелали мы с ней друг другу доброго утра, и стал я в школу собираться. Опять эта чертова яичница с колбасой, сок томатный давно кончился, да и черепушка раскалывается, хуже не бывает. А как в вестибюль школьный зашел, так коленки ватными стали: «Как, — думаю, — увижу-то я ее, как говорить-то с ней буду при всех?» Начало ведь всегда хорошо, а потом люди вокруг появляются, все равно ведь об этом узнают, слухи всякие пойдут, мне до этого как до лампочки, но все равно паршиво, когда тебе в спину пальцем тыкают и шушукуются при этом. Подхожу к классу, а Ленка стоит у окна, меня, по-видимому, ждет.

— Здравствуй,— говорит,— Темкин, долго ты спишь что-то.

— А я,— отвечаю,— и не спал, перенервничал вчера, вот почти до утра и проворочался.— Смотрю, довольная сразу стала, надо же — из-за нее какой-то псих всю ночь не спал и с ошалелыми глазами в школу притопал.

Тут звонок как раз, опять литература начинается. Входит наша Наташа и радостно так объявляет, что мы на два урока (литература у нас сегодня двойная) идем на экскурсию в мастерскую одного типа, художника, вроде бы это должно благоприятствовать нашему эстетическому воспитанию. Все тут, конечно, возрадовались, зашумели, завопили, ведь экскурсия эта в любом случае лучше той лапши, какую нам в школе на уши вешают, по крайней мере, в девяноста случаев из ста. Да и о мужике этом, Радоновский его фамилия, я давно уже от отца слышал, он от работ его балдеет.

— Это,— говорит,— Димка, такой гений, каких свет давно не видывал, каждая его работа может составить честь как Третьяковке, так и музею Гугенхейма!

Я сам в этих вещах мало что понимаю, но посмотреть всегда не против, тем более что в отцовском кабинете одна работа этого самого Радоновского висит — отцовский портрет, он ему на сорокалетие подарил. Только там кроме отца еще куча всего наворочена: женщины, у которых на груди глаза, падающие здания, летающие тарелки и птеродактили. Конечно, если знать эту картину только по моему пересказу, то можно подумать, что дерьмо это, чушь, и больше ничего. На самом же деле вещь классная, у этого Радоновского такие цвета, что кажется, будто ты в Возрождение попал — если коричневый, так уж бархатом отливает, золотистый — кожей загорелой, теплые у него краски, живые. Тут Ленка ко мне подходит и говорит:

— Слушай, а может, не пойдем, может, смоемся и в кино сходим?

— Нет,— говорю,— к этому мужику обязательно сходить надо, у него в мастерской такие штуки есть! — Фыркнула она, но ничего, пошла рядом как миленькая. Идет, ни на кого не смотрит, улыбается чему-то своему и песенку какую-то насвистывает. Свистит она потрясюще, ее бы в ансамбль свистунов, она бы там примой была, честное слово. А в подъезд как мы зашли, где его мастерская, так она меня за локоть взяла, будто сказала, чтобы я подождал, пока все пройдут. Наши поднялись, а она мне и говорит:

— Поцелуй, только быстро! — Поцеловал я ее, и поскакали мы следом за нашими интеллектуалами.

Дверь в мастерскую была уже открыта, и в проеме стоял сам этот Радоновский, точно такой, каким мне его отец описывал — маленький, с животиком, коренастенький, похож на зачуханного гнома, борода у него несуразная, с рыжим отливом, а на голове плешь. Лицо же симпатичное, доброе очень, а глаза ехидные.

— Здравствуйте,— говорит,— ребята, проходите.— Пропустил нас всех в мастерскую, пошептался о чем-то с Наташей, зашел и спрашивает:— Ну что, смотреть и разговаривать будем или по очереди — сначала смотреть, потом разговаривать? А можно и наоборот...

Решили, что совместим все это, и стал он холсты от стен отставлять и показывать нам все подряд. Даже не могу сказать, что мне больше всего понравилось, наверное, та, где амазонки на львов охотятся, только она так лишь называется, а на самом деле там львы на амазенок этих нападают, одну уже загрызли, вторая еле на коне сидит, а третья своего на дыбы поставила и пытается ускакать. Вокруг же пески и кустарник какой-то, черный и сухой, небо низкое, тусклое такое солнце, а где-то далеко, вроде как на горизонте, замок, черный и мрачный. Страшная такая картинка, о чем она — мне не объяснить, но клево, до жил пробирает, как тот вчерашний концерт. И опять эти тона его — безумно-настоящие.

Девушки наши столпились возле холста и шушукуются, а потом Ирка Маевская вроде бы общее резюме выразила:

— Алексей Андреевич, скажите, пожалуйста, почему картины у вас такие странные, а иногда и страшные, а если не страшные, то все равно в них что-то жуткое есть?

А мужик не будь дураком да ответил, что долг-то, мол, художника иногда бывает и в том, чтобы заострить внимание человека на черных сторонах жизни, на низменных чертах его натуры и что, мол, все это ради самого человека и делается. Ну в точь как отец мой тогда говорил, когда я его спрашивал, зачем писатели так страсти всякие разводить любят. Сказал, значит, это наш бородач, а ребятки все не унимаются, пристают к нему со всякими вопросами дурацкими, Эдик вообще учудил, про колер да лессировку стал его спрашивать. Тот на него посмотрел как на чудика и говорит:

— Вы, молодой человек, над сутью думайте, лессировка — это все потом, ведь «как» всегда после «что», и если вы знаете «что», то, естественно, найдете и «как»! — А потом замолчал, видимо, устал от нас. Тут Наташа ему опять что-то зашептала, он улыбнулся, подошел ко мне и стал спрашивать про отца — что он сейчас да где, а я возьми и ляпни, что он как на его портрете — среди непонятной суеты.

Тут Радоновский засмеялся, достал с полки папку с рисунками, порылся в ней, достал один и мне протягивает, а на рисунке он сам, с крылышками, как ангел, только улыбка дьявольская, но добродушная, так, наверное, Бегемот в «Мастере» улыбается, и летит он куда-то, где все фломастером заштриховано. Потом вдруг забрал рисунок снова и говорит:

— Нет, надписать положено. — Взял фломастер и на обратной стороне нацарапал: «Темкину, сыну Темкина!» — и снова заулыбался и попросил меня отцу привет пере-

дать, а все уже к двери потянулись, стали мы тут прощаться и не заметили, как дверь за нами закрылась.

А на улице такая благодать, что в школу возвращаться совсем неохота. Время в запасе у нас еще было, так что Наташа предложила пешком пройтись, а мы, естественно, согласились. Рисунок, мне подаренный, я в портфель положил, да еще заложил во вчерашнюю «Комсомолку», чтобы не помялся.

Идем мы, лужи перескакиваем, народы наши все про Радоновского говорят, Эдик, тип этот пижонистый, во все горло орет, что это не искусство, что так любой сможет, видимо, здорово его с лессировочкой поддели. А Наташа молчит, взгрустнула что-то, хотя обычно на такие темы она часами говорить может. Тут Ленка и спрашивает:

— А тебе понравилось?

— Конечно,— отвечаю,— в этом ведь тайна есть.

— Какая? — прямо ошалела она от моих слов.

— Видишь ли,— говорю я ей,— в любом произведении искусства должно быть что-то, что бы заставляло нас балдеть, когда мы имеем с ним дело. Это и есть его тайна, тайна искусства, воплощения и перевоплощения, когда ты, например, сидишь в театре, смотришь на сцену и весь ты там, а не в зрительном зале. А чаще бывает, что читаешь что-нибудь или смотришь и понимаешь, что все это хорошо, но вот если бы ты это делал, то делать это было бы тебе скучно и ты рукопись бы порвал, а холст замазал. А тот доделал, издал, выставил и ничего хорошего — по-настоящему — людям не дал...

Только Ленке, по-моему, скучно стало от этих моих разговоров. Я понимаю, что глупо идти с девчонкой, которая тебя любит и которую ты любишь, и вчера только вы оба об этом узнали, и говорить про то, что вот в искусстве, мол, необходима тайна, иначе и не искусство это, а бред собачий, да и слова вдобавок получают какими-то не твоими, когда ты о таких вещах говоришь,

будто по книжке шпаришь, что ли. А девчонке ведь про другое хочется, про то, как вам хорошо вместе и что вы значите друг для друга. Только я не могу так, мне почему-то скучно, не все ведь время об этом трепаться можно, ведь любить-то стремишься не только тело, но и душу, а значит, душе той свою отдаешь и говоришь ей о том, что тебя волнует, а меня все эти штучки насчет искусства здорово мучают, хотя мало я что в нем понимаю, вот отец — это да, он и все может сразу понять и в двух словах объяснить.

Дошли мы так до школы, она в двери скокнула, а ко мне тут Мишка подваливает, с Архиповичем, злобные какие-то оба. Подошел он ко мне вплотную и говорит:

— Смотри, Темкин, схлопочешь, оставь Ленку в покое!

Мне с ним связываться, конечно, невыгодно, он меня на голову выше, только в таких вещах всегда надо не бояться, а самому на рожон лезть.

— Ты что,— говорю,— не в свои дела суешься, смотри, как бы сам не схлопотал!

А он не отстает и продолжает всякую чушь нести насчет того, что у него с Ленкой давно все на мази было, а тут я появился.

— Ты что,— говорит,— думаешь, она действительно в тебя влюбилась? Ее знать надо, ей просто чего-то необычного захотелось, ведь кто мы все? Так, людишки, а ты пьесу пишешь, отец у тебя знаменитый, сам Радоновский вон тебе рисунок подарил, да подписал вдобавок, вот ей и захотелось посмотреть, как с таким человеком, как ты, любовь крутить можно!

Такой лажи я уже не выдержал и дал ему по морде. Дать-то дал, только потом уже он мне давал, а Архипович стоял на стреме, чтобы никто из учителей не засек. Но тут Ленка из школы выбежала, потеряла меня, наверное, да как закричит:

— Господи, мальчики, что вы делаете! — А потом на

Мишку:— Зверь ты, зверь! — да на него с кулаками кинулась, тут уж Архиповичу пришлось ее оттаскивать. Встал я, добрался кое-как до туалета, смыл с себя кровь, в башке все звенит, тела не чувствую, лишь одна боль, ну, думаю, надо домой идти, какой из меня сегодня учащийся! Вышел, а тут и Наташа мне навстречу: — Что с тобой?

— Ничего особенного,— говорю,— Наталья Осиповна, по собственной дурасти решил на подножке проехать, да не удержался, вот и шмякнулся.

Смотрит она на меня, понимаю, что не верит, кто в дурь-то такую поверит, тем более что шли мы почти все время с ней рядом, но ничего не говорит, только рукой махнула, мол, ладно, иди домой, лечись да впредь будь умнее.

Взял я свою куртку, портфель под мышку, а тут Ленка меня догоняет:

— Ты домой?

— Домой.

— Я найду к тебе вечером, можно?

— Конечно,— говорю,— можно, даже нужно! — а самого вдруг такое взяло желание ее поцеловать, что не удержался, сказал ей об этом, а она засмеялась и говорит:

— Подожди, до вечера недолго осталось! — записала мой адрес и пошла, а я домой потопал, волоча по асфальту свое избитое тело. Здорово все же этот профессорский сынок меня отделал.

6.

Но до того момента, когда Ленка должна прийти, остается еще целая куча времени. Залез я под душ, вымылся, злость с меня чуть слетела — обидно все-таки,

когда тебя бьют, растерся хорошенько, кости вроде бы поменьше ныть стали, съел банку скумбрии в собственном соку, выпил кофе, врубил музон — так, чтобы фоном он шел, все же легче, и решил посмотреть отцовские альбомы. У него их целая уйма, штук тридцать, если не больше. Я как себя помню, так все время их листаю, то один, то другой, а ведь они все прибавляются да прибавляются, так что все не пересмотришь. Правда, я особенно Ренессанс смотреть люблю. Шикарные тогда картины рисовали, а главное — чувствуется в них, что люди тогда жизнь любили, не то что все эти, которых сейчас пруд пруди. Одно дело, когда человек войну пережил и ею до сих пор болен, а то противно даже, когда молодой чувак всякие страсти-мордасти малюет да еще орет, что, мол, никто его не понимает, любой ведь знает, что жизнь не сахар, но выть-то зачем?

Сижу я, значит, в кресле, смотрю все эти ренессансные дела и балдею, особенно одна штука там есть, Амур с Венерой. А еще Микеланджело, ну, об этом и говорить не надо, сиди просто, смотри, а челюсть у тебя сама собой отпадает. Когда же до его «Страшного суда» дойдешь, так действительно — конец света, настолько вещь жуткая. Но даже от нее тебе жить хочется, а это, по моему, самое главное, чтобы человек смотрел на такие вещи, это бы на него действовало, и старался бы он лучше стать, честнее. Тут мне снова покурить захотелось, достал я из отцовского ящика еще одну сигаретку и снова в Микеланджело уткнулся. Отец его тоже очень любит, и когда у них с матерью отношения ничего, так он частенько посадит ее на тахту рядом с собой и сонеты его по памяти шпарит. Сначала на итальянском, потом — в переводе. Мне особенно один нравится, где строчка такая есть: «Создатель, создатель, создатель!» Больше ничего не помню, но вот строчка эта — она весь сонет повторяется — здорово мне в память врезалась. Лежишь иногда, уснуть не можешь и начинаешь тогда повторять:

«Создатель, создатель, создатель!», это ведь лучше, чем слонов считать или там футбольный матч перед глазами проигрывать. Так вот, посидят они, значит, рядышком, посидят, а потом отец замолкнет и посмотрит на мать. Она покраснеет, прижмется к нему, тут я и сваливаю куда-нибудь подальше, чтобы не мешать супружескому счастью. А то один раз я такую штуку вытворил, что они мне ее, по-моему, до сегодняшнего дня простить не могут. Отец как раз только вернулся, он тогда в Англии был и эту куртку еще мне привез, а в тот вечер фестиваль какой-то музыкальный, заключительный концерт, по ТВ транслировали. Жили мы на старой квартире, и ящик этот дурацкий в той комнате стоял, где они спали. Фестиваль поздно начинался, после десяти, так я дождался и до конца смотрел, а они все ворочались и шептались. А потом мне дед (тогда он еще с нами жил) и говорит:

— Ну и дурак же ты, Димка, не дал родителям по-нормальному встретиться! — До меня, впрочем, не сразу дошло, чего они все не спали, ворочались, а утром на меня оба так обиженно смотрели...

Вспомнил я тот случай и задумался о своих предках. Никак что-то не могу их понять. Любят ведь они друг друга, а постоянно лаются, то из-за меня (но когда из-за меня, это понятно, все родители из-за своих детей лаются), а то вообще просто так, не из-за чего. Хотя, может, это только мне кажется, что не из-за чего, а на самом-то деле есть у них какой-нибудь повод. Мать, к примеру, никак отцу не может простить, что он в Москву отказался переезжать, когда ему предлагали.

— Что,— говорит,— я там забыл, ведь я там работать не смогу, суета эта не для меня, да и народ московский тоже. Ездить,— говорит,— я туда люблю, а вот жить там...

А мать в слезы, тебе, мол, не нравится, так ты о нас

с Димкой подумай! А что думать? Мне вот тоже дома хорошо и никуда больше не хочется, тем более что здесь я родился. К деду же всегда съездить можно, так он и не в самой Москве, а километрах в восьмидесяти от нее, глушь там еще похлеще, чем у нас, если, конечно, называть глушью город, где метро скоро будет.

Досмотрел я, значит, альбомы, ошалел чуток от музыки и решил ящик включить. Только включил очень уж неудачно, какую-то жуткую передачу про террористов западных крутили и сразу же документальные фрагменты показывали. Аэропорт, поле такое пустое-пустое, самолет стоит один, и вокруг машин полицейских море, на всех мигалки светятся, крутятся, сирены гундосят, люди какие-то с автоматами бегают, все в шлемах, в жилетах пуленепробиваемых, а потом убийство Леннона показали. Когда «Битлз» пели еще, так я совсем малюсеньким был, ничего не помню, но потом слушать их начал, а Леннона особенно, да и брат Борькин мне говорил, что он самый классный из них, не продавался, мол, он никогда и музыкант был великий. А его взяли и хлопнули, тля какая-то подзаборная. Такие вещи, как эта передача, хочешь не хочешь, а смотришь, хотя, честно говоря, и так тоска на меня что-то навалилась, да такая — хуже не бывает, и самое интересное — непонятно почему. Все вроде бы хорошо, а что всыпали мне — так с кем не бывает, вот если бы пристукнули, как Леннона, другое дело, или же заложником какие-нибудь террористы взяли — тоже радости мало, а то, подумаешь, фэйс начистили, так я же не девица, переживу. Нет, не из-за этого мне паршиво стало, а вот из-за чего — непонятно.

Тут, к счастью, звонок в дверь. Ленка!

— Привет,— говорит,— больной!

Я даже обиделся.

— Чего,— говорю,— издеваться над человеком, который за свою даму бился!

Расцвела она вся, отдала мне сумку и говорит:

— Не сердись, миленький, я же так, любя, а с этим идиотом я вообще больше разговаривать не буду.

— Вот и зря, — отвечаю, — тогда он подумает, что дрался со мною правильно, а это было бы так, если бы он на тебя права имел, а права ни на кого иметь нельзя, человек ведь не машина...

Она улыбнулась только, сняла куртку и пошла в мою комнату, уверенно так пошла, будто сто раз уже у меня бывала. В джинсиках, свитерок на ней в обтяжку, волосы распустила, и они по плечам струятся. А я за ней эту сумку ее, как паж, молчком тащу.

— Ну, — говорит, — показывай свои владения! — А что тут показывать, у нас не как у них, хрустальные хвостики с потолка не свешиваются, да и квартира меньше, вот только кабинет отцовский! Картины лишь чего стоят, одна этого самого Радоновского, а другую отцу где-то подарили, домик там на заднем плане, а перед ним старик и старушка сидят и о чем-то думают. Простая картина, но мне она нравится. Книг же в кабинете такая уйма, что мало где я их столько сразу видел, а самое странное, так это то, что отец их все прочитал, все до одной, причем не по разу, те, что он по одному разу читает, он дома и не держит, сразу друзьям дарит.

Показал я Ленке отцовский кабинет, затем спальню их, а потом пошли мы в мою комнату. Она у меня уютная, не очень большая, а окно почти во всю стену, как тепло наступает, так я его и днем шторами задерживаю, южная ведь сторона. Вырубил я ящик, снова магнитофон включил. Треп тут между нами какой-то случайный пошел, все про музыку, да про одноклассников наших, да про родителей, не про ее или моих конкретно, а вообще про всех, кого знаем, тут она мне рассказывала в основном про то, кто куда ездил и что откуда привез, а я слушаю вполуха и на нее смотрю — такая сидит красивая, что просто сил нет, сидит, губами шевелит,

какие-то слова из себя выталкивает, ощущение такое, будто играют двое в настольный теннис, да даже не играют, а так — шариком перебрасываются. И только мне стоило об этом подумать, как она сразу о серьезном заговорила, да о таком серьезном, что лучше бы совсем этого разговора не начинать, — куда после школы идти. По мне бы вообще никуда, у меня призвания никакого нет, это остальные все чего-то мачутся, рассчитывают, высчитывают, иногда даже тошно делается, хотя я ведь не лучше, просто не думал еще об этом, вот и все. Ленка тут мне говорит, что не знает пока сама — то ли ей на то-вароведческий идти, с математикой у нее клево, а когда кончишь это дело, как вот ее сеструха, к примеру, так совсем классно будет, но вообще-то тянет ее на филфак, вроде бы по Наташиным следам, хотя, конечно, не климатит ей потом в школе работать. Тут я и завелся, но ведь действительно — как можно так заранее все рассчитывать, страшно мне почему-то стало.

— Зачем, — говорю, — глупости-то делать, пойдешь на филфак, что, думаешь, литературе там тебя научить смогут? Вызубрить — вызубришь, а толку-то? Да и вообще, если ты личность, то потом ты хоть себя ученикам дать сможешь, а если тебе об искусстве тошно говорить в том плане, ради чего оно, и только и можешь, что именами сыпать, то лучше действительно куда-нибудь в другое место подаваться...

Ленка не на шутку обиделась, и я разговор на другое постарался перевести, но ведь действительно, пусть и люблю я ее — а до меня вдруг как-то дошло, что ведь я-то ее действительно люблю, именно такую, как она есть, как вот здесь, сейчас, рядом со мной сидит, — по то, что думаю, все равно скрывать не намерен. А она сидит, надулась и молчит. Ну я ей и говорю, что мне-то еще хуже, ведь я-то вообще не знаю, чем хочу заняться, хотя и знаю, что мне надо.

— А что? — спрашивает она.

— Ездить,— отвечаю,— по всему миру, смотреть вокруг и думать о том, что видишь.

— Ну и дурак,— говорит,— это ведь неосуществимо, кто ты такой, чтобы просто ездить и просто смотреть?

— Дмитрий Темкин,— отвечаю,— человек, это мое основное занятие.

— Какое?— говорит.— Что ты человек? Так хороший человек — это ведь не профессия!

— Да,— отвечаю,— денег за это не платят, зато честно, по крайней мере, что сам так о себе думаю...

Как раз на этих моих словах пленка в магнитофоне кончилась, и вовремя. А то я все эти разговоры насчет смысла жизни и призвания терпеть не могу, надо просто жить и делать то дело, которое у тебя получается лучше других, у меня вот — треп о том, что я думаю и вижу, но признаваться в этом никому не стоит, а то Ленка и та не поняла.

Ей, видимо, тоже в голову пришло, что надо завязывать эти умные разговоры.

— Все это ерунда,— говорит,— Димка, ты просто любишь так вот похохмить, только не говори про меня больше таких вещей, просто ты меня еще плохо знаешь, вот и кажется тебе, что я как все.

— Ух ты,— говорю,— какая обидчивая! — А сам подошел к ней, взял за руки и притянул к себе. Обнимаю и говорю ей:— Красивая ты, Ленка, самая красивая! — А она смеется и не дает себя поцеловать.

— Подожди,— вдруг говорит,— Димка, милый, подожди минуточку, а лучше выйди, ну на секундочку выйди и снова зайдешь, ладно? — А голос у самой трепещет, как флажок на ветру.

Вышел я, пошел к отцу в кабинет, взял всю пачку сигарет, сел в коридоре под дверью и курю. Затянулся пару раз, затушил, захожу в комнату, а она на тахте под пледом лежит, а рядом на стуле джинсики так аккуратно повешены.

А потом мы сидели на кухне и пили свежий, крепко заваренный чай. И пустота какая-то обалденная на нас навалилась, сидим и оба друг на друга не смотрим, будто стыдимся. Тут я и говорю:

— Ладно, Ален, нечего нам молчать, будто что-то страшное произошло, я тебя люблю, ты меня тоже, так что давай, посмотри на меня и улыбнись!

— Как ты,— говорит,— меня назвал?

— Ален.

— Это что, от Аленушки?

— Ага, Аленушка — длинно очень, а Ален — коротко и ласково.

— Милый! — сказала вдруг и заплакала. Подсел я к ней, обнял ее, а она голову мне на плечо положила и такой родной сразу стала, роднее даже, чем полчаса назад.

— Аленка,— говорю,— ведь все хорошо, смотри, до сегодняшнего дня ты была одна и я один, а теперь нас двое, ведь что ни говори, а это людей ближе друг к другу, чем кольцо обручальное, делает.

— Угу,— отвечает,— я люблю тебя, Димка, я очень люблю тебя, только пойдем теперь погуляем, не могу я больше у тебя оставаться, а то мне снова тебя захочется!

Тут я совсем обалдел и понял, что если потеряю ее когда-нибудь, то жизни мне после этого не будет.

7.

Это в пятницу все случилось, а в субботу после школы отец позвонил и сказал, чтобы я к нему на воскресенье приехал, вроде бы поговорить ему со мною о чем-то надо. Мне же это так не вовремя, мы как раз с Аленкой хотели в воскресенье днем в кино сходить, а вечером

у меня посидеть. Намекнул я отцу, что вроде бы не один хочу приехать, если бы он согласился, то Аленка бы ничего против не имела, а сестрица ее и подавно, ей пустая квартира на ночь не помешает. Но отец ни в какую.

— Мне,— говорит,— с тобой серьезно поговорить надо, и касается это всей нашей семьи, так что,— говорит,— будь добр, приезжай один, ничего с ней без тебя не случится.— Ишь, какой понятливый, все-то ему сразу ясно стало!

Сказал я Аленке об этом, она расстроилась сначала, но поняла все же, что не по своей воле я уезжаю, да и вечер воскресный у нас в любом случае еще будет, а с отцом обязательно встретиться надо, раз он сам об этом просит. Так что сразу после школы потопал я на электричку.

Отцовская берлога не так уж и далеко от города, минут сорок езды, а там с полкилометра пешком. Места отличные — бор кругом, сосны корабельные, высокие, летом там особенно хорошо, мы с матерью только летом туда и ездим, а отец как новую идею нащупает, так сразу же туда. Домик у него там маленький, в лесничестве, лесник как раз друг его старый. Отец ведь охотник, так он всех этих лесников и егерей знает.

Иду я по тропинке со станции, тихо, слышно, как дятел где-то вверху по коре барабанит. Настроение классное, вот только по Ленке уже соскучился. «Эх,— думаю,— была бы она сейчас рядом, так вообще больше ничего не надо, здорово-то как!» Когда такое настроение, не то что пьесу — роман в трех книгах написать можно, да неплохой. Хотя с пьесой этой, конечно, дал я шоруху. Ленка сегодня опять пристала насчет нее, да еще рукопись попросила почитать, отговорился тем, что она пока связи не уловит, хотя, по-моему, она уже догадалась, что я брешу, что мне не то что пьесы, письма-то хорошего не написать... Иду я, значит, так, иду, в душе

у меня чисто и светло, и кажется, что всегда так будет.

Отца я увидел еще издали. Он торчал на поляне перед домиком и занимался самым дурацким делом, какое только можно придумать,— пулял из духового ружья по консервной банке, повешенной на сучок большой сосны. Я даже обалдел от удивления, стою, смотрю на него и шалею: надо же, здоровенный мужик, а такой лажею занимается — прицелится, бах-ба-бах, банка дзинь и на землю, он подойдет, повесит ее снова и опять целится.

— Привет, па! — говорю я ему. — Ты чего это?

— А, — говорит, — Димка, здравствуй, я вот тут решил поразвлекаться немного, ну да ладно, пойдем в дом...

Пока отец ужин готовил, я уселся за стол и стал в ворохе бумаг рыться, в рукописи его последней, он обычно против этого не возражает. Только, как всегда, ничего не понял. Там что-то про человека было, которого родной брат подлецом назвал, а мать прокляла, вот парень этот и мается, себя по косточкам раскладывает и думает, что если ничего хорошего в себе не найдет, то не жить ему, ведь куда это годится, если родная мать и та от тебя отворачивается. Не скажу, чтобы мне здорово понравилось, но ведь начала я не видел, так, одна или две главы, а написано здорово, отец вообще здорово пишет, смачно. Тут он меня позвал, и стали мы картошку с тушенкой есть, поели, налил он две здоровенные кружки чаю и говорит:

— Давай поближе к печке, у нее уютнее.

Сели мы, он сигарету закурил, мне тоже захотелось, только попробуй я при нем закурить, такой сразу хай поднимет, что крыша сползет, беги и не оглядываясь, суровый он мужик, когда дело подобных вещей касается. Сидим мы, значит, с ним, чай пьем, он курит и молчит.

— Чего, — говорю, — ты меня вдруг так срочно видеть захотел? Две недели про меня только по телефону и ты, и мать вспоминали, а тут вдруг приспичило.

— Да, — отвечает, — думаю, как начать.

— А ты не думай, ты начинай.

— Ладно,— говорит,— Димка, решили мы с матерью твоей развестись, поэтому в общем-то она в Ленинград уехала, а я сюда.

Чего-чего, а этого я не ожидал, больше, чем Ленка, он меня огоршил.

— Я,— говорит,— конечно, понимаю, что слова мои тебя убили, но лучше я с тобой сейчас один поговорю, без матери, с ней так просто не получится. Видишь ли, нас с нею давно уже только ты связывал, у нее своя жизнь, у меня своя...

— Па,— говорю,— у всех людей жизнь своя, это не причина, не любите вы, что ли, больше друг друга?

— Да,— отвечает,— и это самое главное. Но не любим-то не потому, что нам так лучше, что нам так хочется, а потому, что так уж по-разному живем, что, кроме тебя, у нас ни одной точки соприкосновения больше нет. Я,— говорит,— не оправдываюсь, я сам во многом виноват, да всего тебе и знать незачем, только ты мне на главный вопрос ответь — что ты сам об этом думаешь?

Скажут вот такое, а ты голову ломай. Отца я, конечно, где-то больше люблю, хотя и жалею часто, слишком уж он неприкаянный, такое среди их брата редко встречается, он ведь действительно живет лишь потому, что писать может, но и мать понимаю — человек он тяжелый, у него этих настроений в день штук пятнадцать меняется, и все на нас.

— А что,— говорю,— я тебе отвечу? Это ведь вам надо прежде всего, а не мне, у меня ведь тоже своя жизнь началась, и вам до нее уже давно нет дела, всё с собою носитесь, вот и носитесь! — Говорю, а сам чувствую, что вот-вот заплачу, хотя это уж совсем никуда не годится.

— Слушай,— говорит он мне,— Димка, ты пойми, родной мой, что нам с ней не жить, даже если оба бы

хотели, все равно не жить, не получится, лжи слишком много, грязи много, а когда между людьми такое встает, то не жизнь это уже, а мучение. И вообще — вопрос этот решенный, мы и на развод уже подали, ты одно скажи — с кем останешься?

— Да ни с кем,— говорю,— ни с тобой не хочу, ни с ней. У тебя женщина есть, я тебя еще осенью с ней видел, а с маман остаться, так доброго же слова о тебе не услышишь, а я так не смогу. Я,— говорю,— лучше к деду уеду! — Говорю ему это, а сам плачу, сижу и плачу, а потом тихо так прошу: — Дай, па, сигарету, не могу, тошно... — Он даже не заругался, достал из пачки, прикурил сам и мне отдал, сидим оба, курим, я немного успокоился, а его всего трясет.

— Что-то не то ты говоришь, Димка, дело ведь не в женщине, ты не думай, да и нет сейчас у меня никого, та, с которой ты меня осенью видел, той же осенью замуж вышла, на что ей старый пень вроде меня, мне ведь и жить-то недолго осталось, лет десять — пятнадцать, а к деду тебе нельзя, гармония эта деревенская лишь для тех, кто к ней с детства привык, а горожанин там и двух дней не выдержит. А институт?

— Ты,— говорю,— с этим институтом от меня отстань, никуда я поступать не хочу.

— В армию, что ли, пойдешь?

— Не знаю, ничего я не знаю, только вот так некстати все это!

— А такие,— говорит,— вещи всегда некстати, но только решай, пойми ведь одно — сам ты решать уже эти вещи должен.

— А тебе-то,— говорю,— я зачем?

— А я люблю тебя, этого мало?

— Много даже,— отвечаю ему,— только и мать — ведь она меня тоже любит.

— Сам решай.— И такой вдруг старый сразу сделался, будто дни до прощания друзей с собой считает.

— Мать что,— спрашиваю,— в Питере останется?

— Не знаю,— говорит,— ее это дело. Так с кем ты?

— С матерью,— говорю,— я останусь, ей ведь мужа труднее, чем жену тебе, найти. Только договоримся, что всегда, когда захочу, смогу к тебе прийти.

Он, видимо, этого и ждал.

— Что же,— говорит,— соломоново решение, умный ты у нас. А ко мне хоть каждый день приходи, даже с ночевой. А куришь давно?

«Ишь,— думаю,— хитрец, как нервный момент, так ничего, чуть успокоились оба, так сразу заинтересовался». — Да нет,— отвечаю,— не очень, да я так, помалу.

— А девушка твоя, кто она?

Тут я про Ленку ему рассказал, не все, конечно, так, кто такая, да как выглядит, да что из себя как человек представляет, и постарался тему эту замять, нечего обо мне и о ней трепаться, не их это дело.

— Сам-то,— говорю,— чем заниматься будешь?

— Как,— отвечает,— чем? Писать буду, ведь больше-то мне ничего и не надо, вы,— говорит,— в той квартире, я пока здесь, а вообще, конечно, дряненько все получилось.— Сказал и замолк, сидит, дверку у печки открыл и на пламя смотрит.— Всю жизнь,— говорит,— чужие жизни придумывал, а нашу с твоей мамой прожить не сумел, и нечего искать, кто прав, кто нет, бесполезно это.

«А ведь мать он до сих пор любит,— подумал я,— только что толку, все равно уже так, как раньше, никогда не будет».

И тут такая меня тоска взяла, что хоть вой. Ведь действительно нам хорошо раньше было. Ездили мы часто, то на море, то на озера, то в горы, а какие вечера дома были! Сидим все вместе, уже поужинав, они с матерью стихи читают, или мама на пианино нам играть начнет, а то отец возьмет какую-нибудь книгу хорошую и вслух читает. А иногда мама за машинку сядет, а он ходит и ей по рукописи диктует, а я устроюсь с ногами

в кресле и слушаю. А теперь уже этого никогда не будет, да если говорить по правде, то с год уже как все это кончилось, только никогда вот не думал я, что до развода они дойдут.

Утром мы с отцом об этом уже не говорили. Он пошел меня на станцию провожать, а сам все про свою новую книгу рассказывал, он ведь как новую книгу пишет, так лишь ею и живет, все же прежние для него мур и чушь собачья!

Дошли мы с ним так до станции, тут я про Радоновского вспомнил и привет отцу передал да рассказал, как мы к нему ходили и что я в мастерской видел. А отец сказал, что картины и библиотеку он мне оставляет, что, мол, сам он все это знает, а мне нужнее. И опять тоскливо стало — ну зачем он об этом вспомнил!

8.

Но только уже дома, когда захлопнулась за мною тяжелая входная дверь и я оказался среди давно знакомых мебели и книг, я понял, что же все-таки случилось. Не просто конец этим вечерам, когда мама так по-родному запахивает бесконечно расстегивающийся халатик, нет, и пусть замолчит навеки отцовская пишущая машинка, эта его дребезжащая старая «Москва», которую он никак не может сменить на какой-нибудь там «Консул» или «Оливетти». И дело даже не в том, что не будет больше такого мира, — род кончился, семья, а это всегда страшно, когда дом лишается корневой системы.

И никто не поможет, ни дед, никто, и бессмысленно, что я остаюсь с матерью, ведь скоро и я уйду, но если бы раньше я время от времени возвращался, то теперь уйду без возврата, а это значит, что мне надо уйти как

можно быстрее, пока они еще полны другой болью, чтобы не прореагировать на мою, но это пока невозможно, а значит — терпеть, год, два, но терпеть. И что самое страшное, так это мысль, которая поразила меня, — ведь и у нас с Ленкой все может произойти точно так, и гораздо быстрее! «Только не это, — думал я, готовя себе обед, — только не это, я знаю, что невозможна вечность, но пусть хоть ее приближение, хоть что-либо отдаленно похожее на нее, но только бы не это!»

Я вошел в отцовский кабинет и достал толстый семейный альбом, заведенный еще задолго до моего рождения. Вообще-то я не люблю все эти реликвии и терпеть не могу тех, кто сразу сует тебе в руки такую вот штуку, когда приходишь в гости. Но сейчас я смотрел эти любительские фотографии и в душе моей было пусто и тихо, как всегда бывает при расставании, когда знаешь, что никогда больше не увидишься с теми, кто близок и дорог тебе. Я листал альбом и слушал любимые мамины пластинки, ведь и они сейчас будут для меня уже не те, что прежде. Как далеко вдруг сразу стало от меня все то, что случилось за эту неделю. Нет, я говорю не о Ленке, ведь она одна сейчас — мое спасение, нет человека роднее мне, разве что дед, но он далеко, да ему, пожалуй, и не понять меня. Просто все остальное — школа, вечеринка, дискотека — все это взорвалось и разлетелось на мельчайшие кусочки, как в том концерте, и никто не протянет мне руку!

Я не усидел дома, это было выше моих сил. Натянул свитер и куртку и бегом выскочил на улицу. Мне надо было побыть среди людей, лица которых я увижу впервые и тотчас забуду.

Дошел до проспекта, пересек его, миновал разрезанный пополам цилиндр гостиницы, резко свернул влево, к набережной. Ветер бил мне в лицо, джинсы почти до колен были забрызганы грязью от колес проносящихся мимо машин, а я все шел и шел, продрогнув насквозь,

ведь день был сырым и пасмурным, как обычно в марте в наших краях. Улицы же кишели народом, было воскресенье, и мне приходилось с трудом пробиваться через эту смеющуюся, куда-то спешащую, озабоченную и гигантскую толпу — кровь, наполняющую артерии большого города. Я не заметил, как оказался у «Молодежки», ветер уже сорвал афиши, ничто не напоминало, что еще недавно в здании полыхали прожектора, работали мигалки и четверо человек на сцене вбивали мне в голову, что не все так просто, как порою кажется, но не надо бояться и принимать все на веру, и именно сейчас до меня дошло, что они хотели сказать своими словами и музыкой, этой бешеной цветовой пляской, в голове вдруг стало необычайно ясно, и мне показалось, что я многое стал понимать. И я снова бросился в круговорот улиц и так петлял несколько часов, как хитрый зверь, пытающийся сбить собаку со следа, хотя лишь память преследовала меня, память, и больше ничего!

А вечером мы с Ленкой пошли в кафе. Сидим, я смурной, как никогда, рассказал ей обо всем, что случилось, а она в ответ мне ничего сказать не может, да и что скажешь, когда я сам все знаю, а вернее, знаю, что тоска-то кончится, но вот когда? Смурь ей эта все же скоро надоела, да и атмосфера в кафе была совсем не для смури. Кто-то врубил музыкальный автомат, и куча кожаных танцевать полезла, все коротко стрижены, все в галстучках — и парни, и девичьи, и все топчутся на одном месте, ну и меня она потоптаться вытащила, тем более что я тоже галстучек сегодня нацепил, первый, по-моему, раз в жизни. Потоптались среди кожаных, вернулись к столику, и стала она меня развлекать, про себя рассказывать да про свою семью, а потом вдруг совсем меня опарила:

— Слушай,— говорит,— Темкин, хочешь, я от тебя ребенка рожу, тогда нас распишут и мы с тобой жить будем? — Такое загнула, что хоть стой хоть падай.

— А на что,— говорю,— жить-то мы будем? Ты учиться собираешься, я вообще ничего не знаю кроме того, что ты у меня есть, а все остальное к черту полетело! Брось,— говорю,— такие вещи говорить, я понимаю, что ты от всего сердца, да от этого ведь не легче. И потом — вдруг все, что между нами, это так, на время, откуда ты знаешь?

— Сволочь ты, Димка! — как скажет мне, встала и пошла. Догнал я ее уже на улице и говорю:

— Прости, Алеч, видишь же, что я не в себе!

— Вот,— отвечает,— когда в себе будешь, тогда и поговорим.— И идет к трамвайной остановке, решительно так идет, что ничем ее не остановить.

Плюнул я на все и домой потопал. Пришел, в ванну забрался. Брэдли читая, да не читаю даже, а так — страницы перелистываю, не лезет в меня чтиво. Все же могла бы она меня понять, а не давать так сразу под зад коленкой. Тут телефон затрещивает. Выскочил я из ванны как был и бегом к трубке, думал — Ленка. А это Борька, дружок мой из прежней школы, зовет к себе, вся наша старая компания собралась, меня, мол, только не хватает. «А что,— думаю,— чего бы не поехать?» И тут в дверь звонок. Схватил я полотенце, намотал на бедра, открываю, а на площадке она стоит, и лицо у нее заре-вано.

— Идиот ты,— говорит,— и больше никто!

Провел я ее в комнату, Борьке отбой дал, а сам снова в ванную. Оделся, выхожу, смотрю — Ленка на тахте сидит и курит.

— Злой ты,— говорит,— человек, Темкин, такое в голову только злому человеку прийти может. Я, конечно, глупо сделала, что ушла, но только слов этих тебе никогда не прощу!

Хотел я ее поцеловать, так она меня оттолкнула, да так, что я об стенку стукнулся. А она вдруг засмеялась и говорит:

— Ладно, лажа это все, душ у тебя принять можно?

— Конечно,— отвечаю,— подожди только, я тебе чистое полотенце дам.

Достал я ей целую купальную простыню, и отправилась она. Вода зашумела, потом вдруг дверь приоткрылась, и она меня окликает:

— Подойди,— говорит,— сюда.

Подошел, дверь толкнул, думал, что все уже она, вытерлась и оделась, а она еще в ванне стоит, мокрая вся и смеется.

— Отнеси,— говорит,— меня.— Обернул я ее в простыню, взял на руки и понес, она же меня за щеку обняла и волосами о щеку трется...

Уже потом дал я ей маменькин халат, она его и накинула. А мне на душе сразу так легко стало, я альбомы отцовские достал и стал ей показывать. Показываю, а сам говорю, что в общем-то все к лучшему делается, может, и отцу с матерью лучше станет, когда они разведутся, а мне — ладно, что про меня говорить, свою жизнь я как-нибудь и сам сделаю. Про пьесу эту дурацкую опять заговорили, стала она меня расспрашивать, что нового я туда всобачил, а что я могу сказать, когда блеф все это и нет никакой пьесы. Тут Ленка вдруг есть захотела, отправился я на кухню, сжарил ей свою коронную яичницу с колбасой, а пока жарил, и сам есть захотел. Сидим за столом напротив друг друга, едим, халат у нее на груди распахнулся, а она не стесняется, ничего, будто так и положено — сидеть нам с ней вместе за столом, есть яичницу с колбасой да говорить о том, что воскресенье к концу идет, завтра понедельник, а так хочется, чтобы опять воскресенье было. Поела она, спасибо мне сказала и сама посуду помыла. Меня же смех разбирает — тоже мне, давняя супружеская пара, я как успокоился, так опять в свое обычное настроение пришел, без хохмочек я в нем не могу, пусть даже и хорошо мне. Убрала она, руки вытерла и говорит:

— А кто у вас играет?

— Мама,— отвечаю,— только она давно уже за него не садится.

— Хочешь, Темкин, поиграю?

— Конечно,— отвечаю,— с большим удовольствием.

И тут она мне такой концерт устроила, что я ее еще больше любить стал. Сначала классику играла, потом посмотрела на меня, видит, что сегодня это как-то не в жилу идет, и стала блюзы попеременно со старыми рок-н-роллами наяривать, да так, что я чуть не кончился, и откуда она их только знает? Потом повернулась ко мне и спрашивает:

— Ну как?

А что ответишь... Подошел я, обнимаю ее, а в голове все музыка играет. Только почему-то не так хорошо в этот раз, как в предыдущий было, не знаю почему, но почувствовал я это здорово. Вроде бы не друг для друга уже, а ради того, чтобы каждому прежде всего хорошо стало.

И в этот момент я услышал, как ключ в двери поворачивается.

9.

Хотя с тех пор сколько времени прошло, но как вспомню ту минуту, когда ключ в двери мягко так, как только мать это умеет делать, повернулся, так качать меня начинает и круги перед глазами плывут.

Описывать, что было, когда увидела она нас, смысла нет, это все представить могут. Но мать моя, будто мало ей показалось того, что она нам наговорила, отправилась к Ленкиной сестрице и еще ей все, что видела, выложила. Та позвонила родителям, те на следующий же день прилетели из отпуска и — к нам. Сели они в кружок вместе

с моей мамашей и стали наши оставшиеся косточки перебирать. Ленкиных-то родителей больше всего волновало, чтобы об этом в школе не стало известно, как, мол, это на престиже ее скажется, ей ведь характеристику испортить могут, а с плохой характеристикой куда податься! Но в школе все равно узнали, и, думаю, матушка тут моя виной, она-то ведь во всем Ленку обвиняла, в общем, во вторник утром такое началось...

Слава богу, что не стали еще собирать никакого собрания на тему о моем моральном облике, говорю так потому, что как мать ни старалась все на Ленку свалить, вышло наоборот, и сделали ее моей жертвой, будто я не кто иной, как сексуальный маньяк. Что самое противное, так Ленка против ничего не имела. Как маменька моя в дверь зашла, так Ленка будто язык проглотила, молча оделась, повернулась и ушла под материну тираду. Я же как дурак стал объяснять, что мы любим друг друга, что мы поженимся, и тому подобный бред нести. Мать на эти мои слова среагировала действительно как на самый настоящий бред, дала при этом мне еще по морде, чего она вовек не делала, и заявила, что жить не хочет, мало, мол, того, что отец дрянью оказался, так тут я еще с какой-то девицей, и оба голые. Так она и сказала — голые, да еще добавила одно грубое слово, которое определяло, что мы делали, и слово это у нее так красиво получилось, будто она на этом языке с пеленок разговаривает.

— Дрянь ты,— потом мне говорит,— последняя тварь, ты подумал о нашей репутации, о своей, в конце концов, что об этом говорить будут, ты подумал! — И снова на меня с кулаками кинулась. Тут я куртку свою верную схватил, дверью хлопнул и был таков. Набрал из автомата Ленкин номер, но трубку никто не взял. Так на вокзале я ту ночь и проспал, хотя теперь понимаю, что зря, не сделал бы тогда этого, мать не пошла бы к ее сестрице, и еще неизвестно, чем бы все кончилось. Когда же все это завертелось, когда родственнички наши бучу под-

няли, то Ленка как начала молчать, так все и молчала, ни разу ни словечка мне не сказала, будто и знакомы мы никогда не были, будто и не знает она, как меня зовут. Тут и отец мой вернулся, мать на него накинулась, забыли они про всякий развод и стали мне косточки перемалывать, словно, кроме этого, и дел никаких нет. Я же тоже замолчал, утром молчу, вечером молчу, в школе спрашивают — молчу, понимаю, что дурасть делаю, а все равно молчу, слава богу, что хоть глаз ни перед кем не опускал, но честно признаюсь — бежать хотелось, настолько паршиво было. А Ленке хоть бы что, будто и не было этих дней, будто и не говорила она слово «люблю». Я сейчас так это слово возненавидел, что озолоти меня, поклянись быть верной до конца света, — все равно не скажу. И снова с Мишкой ее видеть стали, ходят вместе, обнимаются, никого не смущаясь, а я как подумаю, что она с ним то же, что и со мною еще совсем недавно, делает, так убить ее готов.

И тут наконец этот день настал. Тоже воскресенье было. Мои дома, молчат, ходят из комнаты в комнату, отец про машинку будто навсегда забыл, только пьет все и пьет, а мать тоже — сидит и плачет. Разводиться они раздумали, так от этого уже никому не легче, даже наоборот, те вечера — они ведь все равно не вернутся, если в доме, кроме молчания, ничего не слышно, так о каких прежних временах думать можно? А самое паршивое, что на меня оба волками смотрят.

Как в такой атмосфере дома сидеть — не знаю. Вот и решил я пойти пошляться. Давно уже прошел тот день, когда можно снять шапку, но в этом году я его и не заметил, просто снял и положил на полку, а чтобы радость там какую почувствовать — куда там! Вот и сижу я без шапки, без куртки уже. Сижу на лавочке, курю, на душе пусто, бежать некуда. И вдруг — Ленка. Идет по аллейке с сумкой, в магазин, видимо, ходила. Я догнал ее, а она повернулась и говорит:

— Чего тебе?

— Как это, — отвечаю, — чего? Ты поговорить со мною можешь?

— Ладно, — отвечает, — чтобы больше не приставал.

Сели мы на лавочку оба, сидим, не знаем, с чего начать. «Ну, — думаю, — в таких случаях всегда прямо надо!»

— Ленка, — говорю, — объясни, что случилось, почему — все?

— Что — все?

— Нам с тобой все, — говорю, — нашей любви все, всему, выходит, все!

— А зачем ты мне нужен? Трепач ты, и больше никто, только и умеешь, что языком молоть, мне о тебе все рассказали...

— А кто же? — спрашиваю.

— Да родители твои и рассказали, в общем, нельзя, оказывается, на тебя надеяться, Темкин, так что отстань и забудь все, что было! — Сказала, встала и пошла. А я сижу, смотрю ей вслед, а у самого слезы по щекам текут.

Тут смотрю — идет она обратно. Быстро так идет, будто что-то мне сказать забыла. Так оно и есть. Подходит и говорит:

— И вообще ты лгун, Темкин, и бездарь, пьесы-то ведь ты никакой не пишешь!

— Ленка, — говорю, — милая, так это-то здесь при чем, это ведь так, шутка была!

— А я, — говорит, — тоже пошутила! — Сказала, повернулась и ушла, теперь уже совсем. Вернулся я домой, там эти мои в молчанку играют. Сел читать — не могу, музыку слушать — не могу, ничего не могу. Пошел в ванную, посмотрел на полотенце, которым она в то воскресенье вытиралась, взял отцовское лезвие и бацнул им себя по запястью. Сижу и смотрю, как кровь хлещет, тут круги перед глазами пошли, только и помню, что дверь открылась и кто-то вошел. Как показалось — Ленка.

Только то была не она, а мать, но это я уже потом узнал, когда в больнице валялся, где меня кое-как откачали. Ленке взяться было неоткуда, кончилась наша пора. Когда я эту штуку с собой выкинул, то дома мои все с ума посходили. Опять говорить начали, даже ласкаются снова при мне, а про развод и вообще забыли.

Ребята из класса заходили ко мне пару раз, да видно, что не по своей воле. Эдик лишь один из всех человеком оказался. Пока я в больнице лежал, так он каждую неделю забегал, а как выписали меня — так почти каждый вечер мы с ним в комнате сидим, болтаем и музыку слушаем. Хотя пижон-то он все тот же и до сих пор любит про Камю говорить. И с Борькой я снова видаться стал. Частенько мы с ним вместе к его брату ездим, брат у него клевый, не утешает, лапшу на уши не вешает, посмотрит, улыбнется и вновь за гитару. На танцы же я совсем ходить перестал и волосы отпустил, не до плеч, конечно, но все равно длиннее, чем у кожаных.

А Ленку я больше не видел. Знаю только, что сразу после экзаменов она уехала куда-то, а потом с Мишкой в Москву дернула, поступать. У меня от нее ничего не осталось, только память, но этого мне хватает. Сейчас, летом, я люблю умотаться куда-нибудь на пляж, валяться там на солнышке и вспоминать, как все это было.

Отец книгу свою последнюю до сих пор не дописал, он вообще ничего не делает, лишь в кабинете сидит да курит. Вроде бы все дома, но нет больше дома ни у кого из нас, да, наверное, никогда и не будет.

И еще одно. Пьесу я все же стал писать. И называется она точно так, как я об этом говорил Ленке — «Мышка-норушка и луна в полдень». Только она о другом, совсем о другом.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Повесть



Сергею Курежину

«...камень, лист, найденная
дверь; о камне, о листе, о
двери. И о всех забытых ли-
цах».

Томас Вулф.

«Взгляни на дом свой, ангел»

...Возвращение. Что в этом слове такого, что не отпускает оно от себя, и вот — сколько лет уже, сколько прошло с тех пор, как впервые написал его? — все живешь в этом замкнутом круге, будто иных и не существует, будто иные не что другое, как мираж? Все спят, тишина, ночь управляет миром, год одна тысяча девятьсот восемьдесят пятый, конец ли, начало? Все спят, тишина, ночь управляет миром, тревожная, беспокойная ночь. Кожей чувствуешь радиоволны, шорох полос завтрашних газет, так свежо и сладко пахнущих типографской краской, что несут они, что будет завтра, да и будет ли оно? Возвращение... Из года в год, из осени в осень, будто самому тебе непонятный гон крови, будто зацикленная музыкальная фраза, год одна тысяча девятьсот восемьдесят пятый, сколько лет уже — пять, шесть, семь? Картинки соединяются в одну, калейдоскоп, волна звуков и запахов, ночь, тишина, спящий город, спящая улица, небо по-зимнему ясное, черное, тревожное, как ночь, с яркими точками звезд — вон Альдебаран, вон Денеб, вспышки бортовых огоньков куда-то летящего самолета, спящие люди в салоне, на пустом кресле чья-то небрежно брошенная газета, в соседнем — парнишка с включенным плеером (надел наушники, отъединился от мира), он один не спит, да еще, естественно, экипаж — во Владивосток, в Тулу, в Катманду? Кожей чувствуешь радиоволны, шорох полос завтрашних газет, кожей чувствуешь, как течет время, как летит этот ночной самолет с полузатемненным салоном, ночь, тишина, возвращение...

...Перрон тих и пустынен. Дождь кончился, в лужах запрокинуто небо. Оно такое низкое, что кажется — до него можно достать рукой. Впрочем, сравнение это банально, но лучшего подобрать я не могу. Стою возле выхода в город, подняв воротник плаща и вобрав голову в плечи, стою, прикрыв глаза, и боюсь сделать шаг, ведь за ним непременно последует второй... Первый, второй, первый, второй, под левую ногу, будто на тебе вновь пропахшая потом гимнастерка болотного цвета, а плечо оттянуто автоматом с полным боекомплект, вот только когда это было?

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПЛЯЖ. ВХОД С МОРОЖЕНЫМ И ФРУКТАМИ ЗАПРЕЩЕН.

ПРИ ВОЛНЕНИИ В ТРИ БАЛЛА КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!

Крупная привозная галька. Полоса пляжа в ширину не больше двадцати метров, море беспокойно, но вода — иссиние-прозрачная, с белыми барашками, но чайки и прочие прелести, что гонят тебя туда, в эту беспокойную волну, в это беспокойное море, но мокрый бетон волнореза, но солнцем нагретый лежак...

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПЛЯЖ. ВХОД С МОРОЖЕНЫМ И ФРУКТАМИ ЗАПРЕЩЕН.

...Друг мой, ты заставляешь меня перебирать в памяти все это лишь потому, что тебя нет рядом. Ежедневная привычка общаться с тобой — вещь не очень-то благоразумная в таких вот условиях, когда до тебя несколько тысяч километров, а писать письма — ты ведь знаешь, как я к этому отношусь, телефонные же разговоры, несмотря на свою дороговизну и ощущение близости, не дают той возможности общения, что эти ленивые размышления на полупустом сейчас пляже небольшой курорт-

ной дыры крымского побережья, так что я буду вынужден ограничиться ими, хотя почему именно эта тема привлекла мое внимание? Может, потому, что в газетах сегодня опять было про эскалацию звездных войн и еще про биологическое оружие, а я, мой друг, воспринимаю подобные вещи очень болезненно, и дело не в том, что к этому не располагает местная природа, погода и прочие южные дела, дискомфорт подобных сообщений чувствуется и зимой, и летом, и осенью, и не все ли равно где — на юге, в Сибири или на Дальнем Востоке. И хотя от раздумий по этому поводу некуда деться, мне намного приятнее общаться с тобой, перебирая в памяти все то, что для краткости я называю «возвращением», хотя ты и вправе спросить — возвращением к чему? Скорее всего, друг мой, просто к самому себе, к тому, каким мне уже никогда не стать, но ведь был, но ведь помню, хотя — и ты прекрасно понимаешь это! — назвать сие воспоминаниями попросту невозможно, ибо грани реального и нереального во всем этом слишком зыбкие и колеблющиеся, хотя и море сейчас не слишком реально, по крайней мере, от жары такое ощущение, что у меня начинается нечто вроде галлюцинаций и хочется встать и уйти с этого пляжа, куда-нибудь на склоны яйлы. Но все это, друг мой, лишь размышления по поводу, до сути еще остается дистанция — и временная, и пространственная, и чтобы преодолеть ее, я буду вынужден сейчас пойти в воду, ибо — как ты любишь говорить — крыша сползла и замыкание возможно, а иметь в собеседниках сумасшедшего не очень-то приятно, хотя, конечно, приятнее, чем читать про эскалацию звездных войн и новое биологическое оружие, лицензия на убийство — так можно назвать все это, друг мой, но главное — мне очень жаль, что тебя нет сейчас здесь, со мной, ибо даже такое общение на расстоянии не может заменить те минуты, когда мы рядом, пусть небо и безоблачно, а вода теплая и чайки, чайки — о, как падают они в волну, как мельтешат в небе!

ПРИ ВОЛНЕНИИ В ТРИ БАЛЛА КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!

...А живу я в небольшом беленом домике, от которого до моря полчаса ходьбы. Перед домиком — гамак, над ним — большая, старая слива. Все это слишком нереально, чтобы в это можно было поверить. Узкая кровать, стол, стул, чемодан с вещами, транзистор. В окно видна буйная зелень Никитского ботанического сада...

ВНИМАНИЕ! СТУПАТЬ НА КУРТИНЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

НА ТЕРРИТОРИИ САДА СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ!

(Перед самым моим отъездом сюда, друг мой, мы с тобой читали вместе Браутигана, его «Ловлю форели в Америке». Форелистость была на подъеме, за окном шел дождь, в газетах в тот день про звездные войны ничего не было.)

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО. ИУДИНО ДЕРЕВО.
ПАЛЬМЫ. БАМБУК.

КАФЕ — 300 м.

WC — 300 м.

...Гимнастерка болотного цвета, автомат с полным боекомплектом. Но только не торопись, никогда не надо топиться перед тем, как занести ногу над вечностью...

— Милый, — говорит мне мама, — милый! Как ты вырос, кажется, я не видела тебя целую уйму времени. Только вот похудел, хотя, может, это усы таким узким твоё лицо делают? Дождь тебя не застал?

— Нет.

— Садись, — и я сажусь за стол, а дождь снова уда-

ряет по окнам, и где-то по направлению к Москве гром раскалывает небо.

— Гроза будет.

— Ага.— Очки на ее лице вдруг беспомощно подрагивают, как стрекозиные крылья, и кажется, что не было этих лет врозь, когда лишь письма да звонки, когда пытаешься высказать и не можешь, ибо что скажешь, когда между вами сотни и сотни километров? Впрочем, километраж лет не так уж и страшен, если за ним не стоит стена тишины и отчаяния от невозможности вымолвить слово, ибо ни к чему это, кончился соединяющий дождь, наступила засуха...

Утро. Вроде бы и не было дождя. Как вкусно пахнет кофе.

ПРИ ВОЛНЕНИИ В ТРИ БАЛЛА КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!

**ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО. ИУДИНО ДЕРЕВО.
ПАЛЬМЫ. БАМБУК.**

ДО КАФЕ — 300 м.

(...Друг мой, как все же скучно здесь без тебя, может, именно поэтому я и рассказываю все это, ведь так гораздо лучше, чем читать газеты и слушать радио, телевизора в моей халупе нет, а то и его я бы зачислил в разряд врагов человечества...)

Но я все же встаю, натягиваю джинсы и свитер, пью кофе и хлопаю дверью.

Если сесть в троллейбус и ехать в нем до конца, то там будет лес. Небольшой, но настоящий, с соснами, елями и лиственницами. Хвойный лес средней полосы России.

Идешь по траве плавно, как в замедленном кино, боясь потревожить жухлую, уже отходящую траву.

...Когда-то давно жизнь заперла тебя в белом пространстве больничной палаты. Ты лежал на койке, смотрел в потолок и читал по памяти: «Февраль, достать чернил и плакать...» Стоял не февраль, стоял сентябрь, солнечный, паутинный, пахнущий настоящим на йоде и хлорке больничным воздухом, и сосед по палате вкусно шелестел сдираемой шоколадной фольгой, а ты чувствовал себя зимним оленем, которому недостает соли и для этого ему приходится проламывать телом твердый снежный наст на солевых местах, выпрашивая ее у нянечки (что поделать — урология, и не полагалось соли ни к первому, ни ко второму), ведь человек не может жить пресно. А когда стеклянные двери покоя закрылись за твоей спиной, то ты пошел по улице точно так же, как сейчас идешь по этой лесной тропинке, плавно, как в замедленном кино, боясь потревожить жухлую, уже начавшую отходить траву...

...А трава зелена!

Как много слышится в этих трех словах: а трава зелена! Вспомни тот июльский полдень, вспомни старую узкоколейку, ведущую куда-то за холмы. Пряная пыль под ногами, пряная тоска холмов. Лежишь, подложив под голову куртку, а вокруг цикады и кузнечики устроили такой балаган, что, кажется, открой глаза — и перед тобой сцена, на которой громяхают бубны и гитары, и замер в восторге зал!

До школы это было или уже после? Впрочем, «до» сказать никак нельзя, «до» было настолько давно, что уже не только не помнится, но даже не видится, лишь только большой бронзовый майский жук, пойманный еще в детском саду, до сих пор бьется в ладони. Была ладошка, стала ладонь, как был жук, осталась лишь память... Так что правильнее будет сказать — во время школы или после? И стоят ли эти холмы того, чтобы вспоминать их,

пытаюсь возродить к жизни? Но ведь не просто так все это было, чтобы забыть, выключить из сознания одним поворотом невидимого рубильника?..

...Но наиболее забавно, друг мой, пляж этот выглядит в погоду ветреную, когда местный и приезжий прекрасный отдыхающий люд не очень-то спешит рассестся и разлечься на этой крупной привозной гальке и лишь несколько странных, чудаковатых типов вроде меня сидят и глазеют на море. Хотя что я делаю здесь в такую вот ветреную погоду, когда и море не манит, понятно, друг мой, — ведь я общаюсь с тобой, излагаю тебе все то, что приходит мне в голову в эти уединенные минуты, а вот что они? Но, наверное, у каждого из них есть кто-то, с кем им приятно общаться в подобные же минуты, когда ветрено и солнце постоянно исчезает за набегающими облаками, а чайки кричат гораздо тревожнее, чем обычно. А вчера, друг мой, я ездил в Ялту, как бы на экскурсию, которую устроил сам себе. Погода была ленивой и безмятежной, я вышел с катера да так и остался на набережной, глаза на большой океанский лайнер, что на сутки бросил якорь в местном порту. Прямо рядом с ним, сидя на чугунных кнехтах, к которым были прикреплены швартовые концы корабля, пацаны удили рыбу из зеленовато-мутной воды, покрытой нефтяными разводами и пахнувшей одновременно свежестью и гнилью. Что ловили они — было непонятно, но с каким азартом смотрели они в воду, сидя в тени этого большого экзотического зверя под неизвестным мне флагом, что же касается порта приписки, то разобрать его я так и не смог...

ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР. ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!

...Но еще забавнее, чем на пацанов и на корабль, было смотреть на отдыхающих, на это разноцветное, улыбаю-

щеся, загорелое людское скопище, говорящее в полный голос, обалделое от моря и солнца. Впрочем, друг мой, и я, наверное, выгляжу сейчас так же, хотя и сохраняю внешнее молчание, ибо разговор наш с тобой не слышен никому в этом мире. Но все же жаль, что этот лубочный, олеографический город, амфитеатром спускающийся с гор, недоступен сейчас для тебя, а для меня — соответственно — является неким наказанием, единственный просвет в котором все то же море да та маленькая, белая халупа, из окна которой видна зелень Никитского ботанического сада и в которой так приятно сидеть вечерами, слушая, как покрикивают дикие голуби да еще какие-то неизвестные мне птицы, а порою в окно отчаянно колотятся ночные бабочки — совки и бражники. В такие минуты мне еще больше, чем обычно, не хватает тебя, и тогда я включаю транзистор и начинаю обшаривать эфир, хотя ночами, когда транзистор выключен, а звезды светят очень уж ярко, радиоволны ощущаются здесь просто кожей, впрочем, как и шорох полос завтрашних газет, которые я навряд ли прочитаю, друг мой, ибо — что ни говори! — я никак не могу привыкнуть ко всем этим статьям про звездные войны, хотя сами звезды так ярки и близки над никитской яйлой. Да, друг мой, все же август — это, пожалуй, самый грустный месяц...

(...Эта прятная тоска холмов. Откуда такая любовь к ним? Может, из одной строчки Хемингуэя — «Зеленые холмы Африки»? А любовь к самой строчке — из далекой, совершенно детской тяги к этому континенту?

Африки нет, но холмы есть. И были они еще во время школы, точнее — долгих летних школьных каникул, во время которых ты часто ездил на дачу и часами шатался по окрестностям, слушая музыку травы и леса...)

ДА, ДРУГ МОЙ, ВСЕ ЖЕ АВГУСТ — ЭТО, ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ ГРУСТНЫЙ МЕСЯЦ...

ПРИ ВОЛНЕНИИ В ТРИ БАЛЛА КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!

...И вот, слушая музыку травы и леса, ты добирался до холмов и долго сидел на одном из них, греясь на солнышке и смотря по сторонам. И лишь раз ты пришел туда не один...

— А знаешь,— сказал Консервная Банка,— что август — самый грустный месяц?

— Еще бы, ведь после него будет сентябрь, и кончится лето, а ждать нового еще целый год, и неизвестно, что может случиться, вдруг что-нибудь такое, что помешает дожждаться нового лета?

— Нет, Боцман, ничего такого не случится, и мыждемся нового лета, но ведь это-то кончится, а оно было хорошим, очень хорошим, и навряд ли новое будет лучше...

Мы сидели с Консервной Банкой на склоне старой железнодорожной насыпи, по которой давно не ходили поезда, рельсы были изъедены ржавчиной, и было необыкновенно тихо.

— Ты знаешь, Боцман,— продолжил Консервная Банка,— август — это еще и самый хороший месяц, конечно, после апреля. Ничего нет лучше апреля, и никогда не хочется жить так, как в апреле, когда в скверах и парках жгут прошлогоднюю листву и кажется, что лето, которое наступит, будет самым необыкновенным в твоей жизни. И потом, в апреле всегда хочется августа. Ведь до него еще так далеко, и будет шквал тополиного пуха, и первые летние дожди, такие легкие, такие прозрачные...

Консервная Банка замолчал и стал смотреть на холмы, было тихо и безветренно, а мы сидели и молчали. Я не знаю, о чем он думал в тот момент. Я же вспомнил свою первую любовь, и мне стало грустно — не оттого, что это прошло, а оттого, что это было очень плохо. А Консервная Банка тоже, наверное, вспоминал свою первую любовь... И тут я вдруг вспомнил Мартышку, и наш двор,

и наше детство. Как давно все это было, и нет больше того дома во дворе, в самом центре которого рос огромный старый тополь. И долго бы я так еще думал, почти ни о чем, но Консервная Банка сказал:

— Послушай, Боцман, ты не знаешь, отчего это люди ссорятся, что им, делать больше нечего? Ты вот подумай, поссоримся, к примеру, мы с тобой, и у нас будет плохое настроение, а значит, мы поссоримся с кем-нибудь еще, а тот кто-нибудь еще с кем-нибудь, и так до тех пор, пока не перессорится весь земной шар. Представляешь, Боцман, что это такое? Сколько-то миллиардов, и все в ссоре? Не с кем поговорить, некому улыбнуться. Ведь это паршиво, Боцман. Я вот никак не могу понять, чего это люди ссорятся. Ведь когда ты с кем-нибудь в ссоре, тебе очень плохо, а если ты, вдобавок, не знаешь, когда эта ссора кончится...

— А что тут поделаешь,—сказал я,—люди всегда ссорились, но потом и мирились, так что не расстраивайся, помирись!

— Ну! — сказал Консервная Банка.— Ну! Да ведь я же все это просто так тебе говорил, и ни с кем я не ссорился, мне и ссориться-то не с кем, разве что с тобой, Боцман, а с тобой мы всегда все поделим.

— Это точно,—сказал я,—мы с тобой всегда все поделим, и ссориться нам с тобой нечего, но все равно ты с кем-то поссорился...

— Да ни с кем я не ссорился!

— А чего тогда заговорил об этом?

— Знаешь, Боцман, вот мы сидим сейчас с тобой на этой дурацкой насыпи и нам хорошо, нам очень хорошо, и мы любим весь этот, такой же дурацкий, как насыпь, мир. Несмотря на то, что август, что лето почти кончилось. Мы любим его, и нам хорошо. А кому-то плохо. Может, я и банален, но кому-то плохо, а нам хорошо, и это несправедливо. А плохо людям оттого, что они ссорятся друг с другом.

— Нет, Консервная Банка,— говорю я,— плохо людям не от этого. Ссорятся они потому, что часто не понимают друг друга, а еще чаще просто не хотят понять. И им из-за всего этого совершенно не хватает времени, чтобы посидеть вот так, как мы с тобой, на старой железнодорожной насыпи, и посмотреть на холмы, ведь это здорово, когда холмы именно так, грядой, уходят за горизонт.

— Почему?

— Да просто так. Ведь тебе тоже нравится?

— Да, но вот зачем сегодня август, а не июль, а еще лучше — июнь, и все лето было бы впереди...

— Но этого не может быть,— говорю я,— все когда-нибудь кончается, но ведь потом начинается снова. Не будет больше этого июня, зато будет следующий, и он будет еще лучше, чем тот, что был в этом году.

— Откуда ты знаешь, что лучше, Бодман?

— Не знаю, а просто верю, ведь все лучшее — впереди...

— Впереди так впереди! — соглашается со мной Консервная Банка, и мы встаем и идем с ним по направлению к городу...

...Да, друг мой, все же август действительно самый грустный месяц, хотя для парижан, например, это не так, ведь весь Париж в августе уходит в отпуск, только вот отчего мне становится забавно при известии об этом? Сегодня на пляже я вдруг вспомнил «И цзин», а конкретно — строчку «благоприятен брод через великую реку», и принялся гадать, что же таит она в себе, что это за брод и что за река и как следует понимать все это... Рядом со мной, в двух шезлонгах, некими реликтовыми порождениями, возвышающимися среди массы лежаков, надувных матрацев и просто полотенец, брошенных на крупную серую привозную гальку, восседала парочка благообразных разнополых старцев, которые невесть как очутились здесь, ведь намного более пристало отдыхать

им в каком-нибудь элитном пансионате или санатории. Мне трудно сказать, чем они так заинтересовали меня, может, лишь тем, что оба сидели в шезлонгах, а данные предметы в местном пункте проката отсутствуют. Старец мужского пола сидел, углубившись в газеты, их у него была целая пачка, за несколько дней, начиная от местной, курортной, и кончая большим набором центральных. Читал он увлеченно, изредка вдруг как бы отключаясь, тогда очки чуть приспадали ему на нос, а глаза прикрывались, но все это лишь на мгновение, не больше, а потом он вновь начинал перебирать страницы. Что же касается его спутницы, то она дремала все это время, похожая на большую старую дельфиниху... В общем, друг мой, как ты уже поняла, я занимаюсь здесь исключительно созерцанием и размышлениями по поводу того, что вижу, хотя главное для меня во всем этом — излагать тебе то, что проявляется в моей голове, ибо надо чем-то заниматься, кроме периодического обращения к «И цзин», хотя действительно — что заключает в себе строка «благоприятен брод через великую реку»? Яйла сегодня какая-то напряженная, край ее плато будто очерчен на фоне неба твердым карандашом, само же небо совершенно прозрачно, от вчерашнего ветра и следа не осталось. На море появились яхты, два миленьких белых кораблика, таких игрушечных, что кажется — место им на елке, а не на волнах, хотя волн, собственно говоря, нету, но и штилем все это не назовешь... Друг мой, я становлюсь ленив, но может, это просто способ самосохранения от мира? Не знаю, но моя обычная энергия уступила здесь место полной ослабленности, сегодня, например, я еще не купался, хотя жарко, хотя вода манит по-настоящему, но чтобы встать, но чтобы войти в нее... Надо бы заняться нырянием, но и это лень, гораздо приятнее смотреть на шезлонговую пару и ощущать, как тебя полностью охватывает внутреннее спокойствие, может, действительно — благоприятен брод через великую реку, хотя что это за река и где

она? Всю ночь слушал радио, террористы, экстремисты и прочая пакость, от всего этого зябко, будто какие-то иголочки покалывают по коже, но ведь это было ночью, дру мой, а сейчас день, точнее — еще полдень, море безмятежно и так же лениво, как я, шезлонговые соседи читают газеты уже совместно, группка молодежи (их, как и шезлонговую пару, я вижу впервые) играют в волейбол, соседи слева, отдыхающие здесь уже вторую неделю (он — музыкант, она — учительница), перебрасываются в карты, их сынишка запускает с волнореза большого покупного змея, этакое разноцветного калифорнийского кайта, но ветра, как я уже говорил тебе, почти нет, и змей периодически шлепается в воду, подымая кучу брызг, цвет моря интенсивно-аквамариновый, чайки сегодня спокойны, судя по всему, под вечер к берегу могут подойти дельфины — как бы мне хотелось, чтобы ты была сейчас со мной... Да, друг мой, воистину жаль, что я совсем не расположен к писательству, более ангельского места для подобного занятия не придумать, а ведь совсем рядом — двадцать минут на катере — Ялта с ее сонмищем курортников и всякого прочего прекрасного люда, асфальт, азалии, олеандры, а здесь узкая полоса пляжа, с одной стороны — море, с другой — ущелье, переходящее в склоны яйлы, на них, собственно, и расположена территория сада, огражденная по всей своей длине проволочной сеткой, но под нее можно подлезть, и тогда ты оказываешься в местах попросту фантастических: к примеру, метрах в тридцати от моего лежака — небольшая полянка, вся в окружении густых, темно-зеленых, нестриженных кустарников, над которыми мачтами высятся какие-то местные деревья, чьи названия узнать я никак не удосужусь, но дело не в названиях, просто на полянке этой извечный круговорот бабочек, и каких! В основном это парусники-подалирии, чудные, маленькие (хотя и достигающие порою размера в мою ладонь) создания с двумя красивыми копьеобразными отростками на задних крыль-

ях, встречаются и махаоны, их собратья по родовой принадлежности, но более грубые, с яркой, аляповатой окраской, а сегодня с полянки на пляж залетела зеринтия испанская, чьи крылышки будто обрезаны по всей длине маленькими фигурными ножницами — в общем, друг мой, действительно жаль, что я совсем не расположен к писательству, мой технократический ум способен разве что вести с тобой эти разговоры да размышлять о каких-то отвлеченных вещах, хотя если вспомнить звездные войны, то их-то как раз нельзя назвать отвлеченными... Соседи с шезлонгами ушли, солнце слепит глаза, на мне нарастает загар, какой-то чудаковатый пролетел прямо над изголовьем лежака...

НАСЫПНАЯ ПОЛОСА ПЛЯЖА. ХОЛМЫ, ГРЯДОЮ УХОДЯЩИЕ ЗА ГОРИЗОНТ.

ИНТЕНСИВНО-АКВАМАРИНОВОЕ МОРЕ. ЧАЙКИ. ПАРУСНИКИ-ПОДАЛИРИИ.

ПРИ ВОЛНЕНИИ В ТРИ БАЛЛА КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО! СНОВА ХОЛМЫ.

КОГДА ЭТО БЫЛО?

...Что касается холмов, то они действительно были, и однажды я пришел туда не один. Мы долго целовались, затаившись в ложбинке, и трава исколола мне все тело, да так, что зуд не проходил несколько дней. Сейчас мы изредка встречаемся в городе, она, как правило, с сыном, ему уже третий год. Мы присаживаемся на какую-нибудь скамеечку и долго обсуждаем, где и кем сейчас кто-либо из наших, как хорошо растет ее малыш и на что стоит сходить в кино. А потом она уходит, ей пора домой, скоро с работы придет муж, и надо готовить ужин, потом зайдет свекровь (посидеть с малышом), а они пойдут гулять, либо в кино, либо в гости, либо в ресторан, им этого вполне хватает. Но каждый раз, как мы встречаемся, она вспо-

минает эти холмы, и то, какой густой и колкой была трава, и как хорошо, что это вообще было...

МАЛЕНЬКАЯ ПЛОЩАДЬ С ФОНТАНОМ В ВИДЕ КАМЕННОГО ЦВЕТКА. УЗОРНО ВЫСАЖЕННЫЕ ЦВЕТЫ, ОБРАМЛЯЮЩИЕ ФОНТАН ЗВЕЗДООБРАЗНОЙ ЛИНИЕЙ. СКАМЕЙКИ. ПОДСТРИЖЕННЫЙ, ЧУТЬ ЗАПЫЛЕННЫЙ КУСТАРНИК. ДЕНЬ. ЖАРКО. ФОНТАН НЕ РАБОТАЕТ. СЛАБЫЙ ВЕТЕРОК ГОНИТ ПО НЕБУ ПРОЗРАЧНЫЕ, НЕВЕСОМЫЕ ОБЛАКА. ПЛОЩАДЬ ПУСТА, КАК ПУСТА И УЛИЦА, К КОТОРОЙ ОНА ПРИМЫКАЕТ.

...Хотя я-то знаю, что больше всего она не хотела, чтобы ее жизнь сложилась именно так — размеренно и устроено, как часовой циферблат. Мне-то проще, всегда проще, когда живешь безалаберно, кидаясь из стороны в сторону, пытаюсь соревноваться по числу прожитых жизней с кошачьим царем. Хотя какое это соревнование, всего лишь попытка, дай бог прожить хоть одну...

(А тропинка идет все дальше и дальше, пробегая мимо старого кладбища, точно такого же, как то, возле Владивостока. В тот день был штормовой ветер, волосы примерзали ко лбу, и барабан грохал, как комья о крышку гроба).

...Я иду просто так, без цели. Просто иду по этому сентябрьскому лесу, ожидая, что пойму что-нибудь такое, что поможет мне в жизни, и все будет не так запутанно, хотя и понимаю, что это невозможно. Но ведь именно из-за всего этого я и прилетел на неделю сюда, к матери, чтобы мы как-то смогли объясниться, а если не получится, то хотя бы окончательно понять самих себя. Сейчас она на работе, время обеда, она, наверное, в институтском буфете, пьет чай или кофе и ест бутерброды,

что не мешает ей разговаривать с соседками по столу. А может, с соседями, скорее всего, что с соседями.

Она сидит с ними и разговаривает, что вот как хорошо бы всем вместе съездить, к примеру, в следующее воскресенье куда-нибудь в лес, ведь скоро осень залетится дождями, из дома носу не высунешь, так что надо пользоваться моментом.

— А помните,— спрашивает сосед,— как мы ездили в Суздаль и Боголюбово, то самое, где церковь Покрова-на-Нерли, а как были в Коломенском? Там еще такой прекрасный хор, что вашему сыну он напомнил звучание негритянских спиричуэлс, хотя что между этими вещами может быть общего?

— Да, сын,— говорит мама,— знаете, для него смещение любых понятий всегда — игра, впрочем, поездка действительно была хороша, что же касается сына, то как раз сейчас он здесь, так что, если хотите, можете вечером заехать.

И я знаю, что этот человек обязательно приедет сегодня вечером или, на худой конец, завтра, и мы будем сидеть за льняной скатертью, пить «Твиши» или что-нибудь в этом роде, будет витать запах жаренного со специями мяса, а потом я встану, скажу «спасибо» и поеду в город, к каким-нибудь своим знакомым. И будет играть музыка, будут теплые женские плечи, чей-то смех в соседней комнате, а я буду нежно обнимать партнершу и говорить ей, что как это хорошо — увидеться вновь после столь долгого перерыва и снова с ней танцевать и что она еще более красива, чем раньше, а она будет прижиматься ко мне и шептать всякую белиберду про надоевшего мужа, про грубых мужиков на работе, про то, что так редко встретишь в мире настоящее взаимопонимание и что все вот считают их идеальной парой, а на самом деле он спит с ее же подругой, а она давно не верит в то, что есть любовь, разве что в те минуты, когда вновь встречает кого-то из тех, кого действительно любила. Впрочем,

так уже было, а будущее нельзя представить по прошлому, хотя Фолкнер и говорил, что нет ни будущего, ни прошлого, а есть только настоящее, в котором живут и прошлое, и будущее. Вот так-то, любовь моя, забывшая, как меня зовут в тот момент, когда я выкуриваю сигарету, сидя на краю ванной в большой московской квартире...

Хотя может быть и иной вариант. Ведь совсем не обязательно, что мать сейчас обедает и что обед этот вызовет за собою все, что было описано выше, а даже если она и обедает, то почему обязательно должны всплыть за столом тени Суздаля и Боголюбова?

...Что же касается травы, то она действительно была зелена той ядовитой зеленью, которая возможна лишь в июне, пока она не приобрела респектабельно-томный оттенок увядания. А вот Суздаль и Боголюбово, Покрована-Нерли и Коломенское касаются скорее меня, друг мой. Я не утверждаю, что мать там не была, просто мы были там по отдельности, и отвечать я могу лишь за себя...

МОРЕ. ХОЛМЫ. СУЗДАЛЬ. БОГОЛЮБОВО. ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПЛЯЖ. ВХОД С МОРОЖЕНЫМ И ФРУКТАМИ ЗАПРЕЩЕН!

...Да, друг мой, все же благоприятен брод через великую реку, а сумерки уже спускаются на море, черные, лоснящиеся спины дельфинов, подошедших почти к самому берегу, стали плохо различимы, дикие же голуби опять начали свое гуканье в зарослях почти рядом с пляжем. Скоро неделя, друг мой, как я без тебя, но ни в меланхолию, ни в сентиментальность пока не впадаю. Уже высыпали звезды, Млечный Путь прекрасен, настолько отчетливо виден он на этом низком, черном небе. Вот только отчего оно снова тревожно, друг мой, что можно ждать от сегодняшней ночи и от завтрашнего дня, что

вообще можно ждать от будущего? В таком настроении, как сейчас, надо вспоминать не «И цзин», а читать доклады Римскому клубу, хотя их-то под рукой у меня как раз и нет, но разве могла ты, собирая меня в дорогу, знать, что они могут понадобиться? Шезлонговая пара вновь спустилась к морю, хотя и без своих пляжных монстров. Теперь они просто стоят у самой кромки воды и смотрят туда, в сторону горизонта, откуда и приплыли сегодня дельфины, вот только жаль, что пляж галечный, а не песчаный, иногда хочется зарыться в песок, как бы уйдя в своеобразную консервную банку, хотя уединения здесь и так достаточно — может, просто странный сезон? Почему-то в последние дни я особенно много думаю о взаимопонимании и отчужденности, может, все это просто из-за моей оторванности от тебя? Но ведь я не хотел ехать, ты сама настояла на этом. С моря подул ветер, сегодня под вечер я распаковал снасти для подводной охоты, иногда мне кажется, что вода — самое общительное существо на свете, по крайней мере, при встрече с ней отчужденности я не испытываю. Но все же, друг мой, отчего так тревожно небо и куда исчезли дельфины? Скорее всего, завтра будет шторм, жаль только, что это на несколько дней прекратит купания. Вертолет пролетел куда-то низко-низко над яйлой.

НАДО ЗАПОМНИТЬ. ЯЙЛА. НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД. ПЛЯЖ ИЗ НАСЫПНОЙ ГАЛЬКИ. СУЗДАЛЬ И БОГОЛЮБОВО. ТОГДА ТЕБЯ СО МНОЙ ЕЩЕ НЕ БЫЛО. ПРИ ВОЛНЕНИИ В ТРИ БАЛЛА КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО! ПЕРЕД ОТЛЕТОМ МЫ ЧИТАЛИ БРАУТИГАНА. СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТПРАВИЛО ТЕЛЕГРАММУ ПРЕЗИДИУМУ РИМСКОГО КЛУБА. ЕГО ОСНОВАЛ АУРЕЛИО ПЕЧЧЕИ. КНИГА «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА». ВТОРОЕ ИЗДА-

НИЕ. НА НИЖНЕЙ ПОЛКЕ ЛЕВОГО ШКАФА МОЕГО КАБИНЕТА. ЧТО ТЫ СЕЙЧАС ДЕЛАЕШЬ, ДРУГ МОЙ?

...Не знаю, что погнало меня тогда в поездку по так называемому Золотому Кольцу. Это был период безвременья в моей жизни, когда, потеряв одного себя, я еще не нашел другого, но нашел много хороших друзей, с которыми можно было шлаться до рассвета после того, как кончались репетиции в нашем студенческом театре. Тогда я был джинсовый и длинноволосый, впрочем, джинсы ношу и сейчас, ибо джинсы — как открыл еще тогда — не одежда, джинсы — это философия...

...Вся соль была в том, что поездка наша, поход, или как вы там его ни назовете, была именно просто так, чтобы выйти на мгновение из окружающей реальности, оставив только свое собственное время, наложив на него пыль неизвестно куда и неизвестно откуда идущих дорог. С холщовыми мешками и сумками через плечо, с двумя этюдниками, гитарой и фотоаппаратом вышли мы из раннего суздальского утра, чтобы встретить день уже на дороге. Впрочем, говорю о Суздале так потому, что именно там команда наша приобрела окончательную численность, а из родного города нас выехало пятеро. Но обо всем по порядку.

Маршрут наш был прост и строго выверен. Это потом уже начались импровизации и мотало нас из стороны в сторону, но точно знали мы одно — отправившись из Москвы, должны были добраться до Ленинграда, побывав как можно в большем количестве мест, ожидающих нас по пути. Перед тем как сесть в поезд, я «забыл» на столе ключи от маминой квартиры, чтобы не появилось желания провести пару ночей на чистых простынях, ибо мы договорились, что именно так — без чистых простыней и потолка с люстрой — должен идти наш путь. И дан был сигнал отправления, и покатали мы на запад, а за окна-

ми вагона в неустанном уральском дожде мокли недавно скошенные стога.

И был Владимирский вокзал, залитый ранним солнцем, гомон старух на лавочке в скверике, нависающий над городом Успенский собор, до которого надо взбираться узкими улочками, поднимающимися в гору, минуя пестрые группы туристов из-за рубежа. Но мы все еще оставались в реальности, и лишь на следующий день, после ночевки возле костра, прямо на берегу мелкой, глинистой речки, когда душный воздух начала августа окутал нас изматывающей жарой, я понял, что началось наше собственное время, то, что гораздо позже смог обозначить для себя самого как пору красных лесов, когда человеком овладевает тяга к перемене мест, беспричинная, ничем не обусловленная тяга, которая сродни моему сегодняшнему возвращению.

...Мы сидели в маленьком кинотеатрике и смотрели фильм Сиднея Поллака «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». До сих пор я помню этот танцевальный марафон, конец которому положила пуля в висок. Всегда просто сказать, что ты был чем-то потрясен, я же был убит, и до сих пор убитая тогда во мне часть безмолвствует, ибо разве может говорить то, чего уже нет?

Воздух в кинотеатре был душным и спертым, в то лето в этих местах от жары вообще не было спасения, а после сеанса мы лежали в колючей, уже начавшей сыхать траве и молча курили, смотря, как над нами кружит стая неизвестно откуда взявшегося воронья.

...Они все кружили и кружили, а Гильб играл на своей детской свирели незамысловатую мелодию, в которой переплелись дороги, по которым мы никогда не пройдем, и города, которые нам никогда не удастся покорить своим сердцем. А еще в этой мелодии была память по всем тем, кого мы любили, но кого не было уже на земле.

(Может, в этом и заключалась главная цель нашей

поездки — не столько увидеть, сколько понять. Самих себя, то, что нас окружает, причем не в местных, небольших масштабах, а в размерах воистину галактических, ибо звезды в те ночи были яркие и видны, как никогда, хотя поток Леонид еще не появился на августовском небосводе.)

...С тех пор я не стал ходить в кино чаще, но никогда не забыть мне тот августовский день, когда на экране шли и шли марафоны танца начала тридцатых годов, снятые камерой производства шестидесятых...

...Сегодня действительно штормит, друг мой. А ночью я сподобился видеть уже почти забытое мною зрелище — с неба шел звездный дождь, это были Леониды, звездный поток Леонид, устремляющийся к Земле со стороны созвездия Льва. Ослепительные, фарообразные точки, рассекающие черную глубину неба...

(Я не знаю, где сейчас Гильб, как не знаю, где почти все остальные из нашей компании. Время чаще разводит, чем сводит, но до сих пор играет мне ночами эта свирелька, и так хочется, чтобы подо мною снова была уже начавшая ссыхаться трава и кружила над головой стая неизвестно откуда взявшегося воронья).

...Настал вечер, затем и ночь, заквакали лягушки в прибрежном болоте, замолкла гильбова свирель, а я все никак не мог уснуть, все ворочался и ворочался, стараясь поплотнее завернуться в старенькое шерстяное одеяло. Мешок куда-то постоянно укатывался из-под головы, за воротник свитера попадали сухие травинки, сон все не шел. Сейчас мне кажется, что я так и не уснул в ту ночь, а просто впал в какое-то беспамятство, из которого меня вывело наконец-то поднявшееся солнце и ударивший неизвестно откуда в лицо ветер. Из холодного утром он превратился в жаркий к полудню, и пыль, в которую он погрузил наш автобус, идущий в Суздаль, оседала на губах и языке неприятным месивом...

...«И цзин» что-то не вспоминается, а ни Печчеи, ни доклады Римскому клубу почитать нет возможности — в местной библиотеке они отсутствуют, сомневаюсь, чтобы были и в Ялте. В кино идет какой-то боевик со стрельбой, штормит сильнее, чем утром, сижу возле домика, под сливой, в гамаке, читаю Басё и ощущаю себя настолько вне времени, что становится просто смешно, друг мой. Ничего не хочется, даже спать, скорее бы кончало штормить, тогда можно пойти на пляж. Гулять же по Никитскому саду — мне хватило одного раза, слишком уж окультурены эти джунгли, слишком в них много народу. На пляже намного лучше, интересно, летают ли сегодня подальирии и прочие чешуекрылые?

ПАРУСНИК ПОДАЛИРИЙ. ЗЕРИНТИЯ ИСПАНСКАЯ. МАХАОН. ВСЕ ОНИ ЗАНЕСЕНЫ В КРАСНУЮ КНИГУ СССР. ПО КУРТИНАМ НЕ ХОДИТЬ! ПАЛЬМЫ. БАМБУК. ШТОРМ ВСЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Впрочем, друг мой, имеет ли смысл останавливаться на каждом мгновении того лета? А что касается Суздалья, то описывать его бесполезно, как бесполезно описывать моменты собственного рождения и смерти. Всегда надо, чтобы при этом кто-то присутствовал, иначе просто трудно поверить. А пара с шезлонгами только что встрети-лась мне на набережной, он шел с газетами, она — с сумочкой для вязания. Их толкнул, пробегая, какой-то парнишка с плеером, я так и не понял, извинился он или нет...

...А тропинка все бежит и бежит под моими ногами, нескончаемая тропа, покрытая налетом палой листвы и хвои. Я иду так долго, что устал. Позади осталось кладбище, да и мать моя, вполне вероятно, уже кончила работу и едет теперь в электричке, держа на коленях плот-

но набитую съестным сумку, ведь не надо забывать, что вечером могут быть гости. Так что и мне пора кончать свое беспцельное хождение, развернусь-ка я на 180 градусов и пойду обратно, тем более что ноги ноют точно так же, как в тот день, когда я скинул свой дорожный мешок на самом верху крепостного вала, что идет по центру Юрьева-Польского, почти что напротив монастыря...

(Два часа ночи. Темень такая, что не видно собственной руки. Небо забрано тучами, сильный ветер, не дай бог, если пойдет дождь. До вокзала топать и топать, а здесь, на валу, можно пересидеть до утра, если поплотнее прижаться друг к другу, да еще завернуться в одеяло. Я забываюсь сном, не знаю, на сколько — на час, на два? Это действительно забвение, та грань между бодрствованием и полным отдохновением, когда перед глазами проходит ярчайший калейдоскоп видений, фантасмагоричная мешанина образов, непонятно почему и зачем посетивших меня...)

ИНТЕРЕСНО, ВОДИТСЯ ЛИ В КРЫМУ ФОРЕЛЬ? ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, ДОЛЖНА. НО ОБ ЭТОМ НИЧЕГО НЕТ НИ У БРАУТИГАНА, НИ В «И ЦЗИН». ОКАЗЫВАЕТСЯ, ДИКИЕ ГОЛУБИ ЖИВУТ ПОЧТИ У ДОМА. ЛОВИТЬ РЫБУ И КУПАТЬСЯ С ПРИЧАЛА ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

...Вот уже второй день, как шторм не кончается, только если вчера дискомфорт ощущался лишь на море, то сегодня пакостно и на берегу. Пошел дождь, ветер усилился, яйлы не видно, просто не верится, что еще позавчера все местные южные прелести проявлялись во всей красе — и солнце, и воздух, и вода, и черные, лоснящиеся дельфины спины, и легчайшее, беззаботное настроение... Да, друг мой, сегодня все не так, а потому я и сижу с самого утра дома, смотрю в мокрое от дождя окно

и пытаюсь вспоминать нечто конкретное, то, что касается непосредственно нас с тобой, а отнюдь не некие абстрактные вещи периода «до тебя». Но может, исключительно из-за погоды вспоминается мне лишь один и тот же фрагмент — какой-то скверик, залитый поздним осенним солнцем, солнцем той осени, которая еще на пороге бабьего лета, и листва не опала с деревьев, и бабочки — мириады этих забавных существ кружатся вокруг нас с тобой, и сквозь них не видно ни солнца, ни неба, было ли это, или я просто что-то сместил, увеличил в своем сознании? Не знаю, друг мой, но дождь льет и льет, море потеряло всю свою картиночность, на сердце тревожно, отчего-то мне сегодня довольно одиноко в этой халупе и не хочется думать ни о «И цзин», ни о прочих проявлениях человеческого разума. Может, я все же зря уехал на это время от тебя, может, надо было плюнуть на море и на нервы: глядишь, зима бы все поправила сама и не было бы этого нашего периода заочного общения, когда я даже не знаю, чем ты сейчас занимаешься, друг мой, а могу только предполагать, вспоминая какой-то дурацкий сквер и мириады неких забавных существ, явно порожденных в данный момент лишь моим сознанием, ибо по всем законам научного познания на той грани осени, вслед за которой сразу — бабье лето, подобные явления невозможны, а может, этого не было вообще? И еще сегодня я думаю о смерти городов, друг мой, о том, что их судьбы чем-то схожи с людскими — и ненависть, и любовь, и отчуждение — все это есть в них, и смерть их похожа на людскую, то в болезни и отчаянии, то в мимолетности, а то и в полнейшем равнодушии к тому, что происходит рядом... Да, дождь как-то не способствует оптимизму, и неизвестно, каким сегодня будет небо, добрым или тревожным, и когда все же кончится шторм? Сейчас я начинаю жалеть о том, что забыл дома кассетник, сейчас бы не помешало немного музыки, ведь заняться все равно нечем, впрочем, голова и так раскалывается от шума

дождя... Даже детектива нет под рукой и нет никакой возможности отключиться от самого себя и — как следствие — от тебя, хотя мне бы сейчас очень хотелось этого, ведь думать здесь о тебе постоянно становится порою невмоготу... Да, друг мой, судя по всему, города умирают, как люди, и порою это происходит тихо и незаметно, вот только почему я начал думать об этом? От безделья? От дискомфорта души? От тоски по тебе? Самое страшное — это ощущать, как уходит энергия, как ты становишься просто подобием себя самого, но того, каким был и каким уже никогда не станешь, ощущать, как вкус и способность к восприятию жизни сменяются ежедневными, привычными радениями во славу неизвестно какого божества и как тебя все меньше и меньше тянет к людям, а все больше и больше к самоуединению, и не все ли равно, где и с кем... Шторм, друг мой, просто шторм...

ШТОРМ. ВТОРОЙ ДЕНЬ. СЕГОДНЯ ПОШЕЛ ДОЖДЬ. С САМОГО УТРА. ЯЙЛЫ НЕ ВИДНО. ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ. ТАКОЙ ГОРОДОК. ЕСТЬ ЕЩЕ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ. НАС БЫЛО СЕМЕРО. КОГДА ЭТО БЫЛО? ГОРОДА УМИРАЮТ, КАК ЛЮДИ. НА ТЕРРИТОРИИ САДА СЕЙЧАС, НАВЕРНОЕ, НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА.

Кто-то толкает меня, и я просыпаюсь. Светает. Все на ногах, холод такой, что зуб на зуб не попадает. Несмотря на это Гильб уже достал свою свирельку, сел на мешок, брошенный на землю, и начал плести нить очередной мелодии под тихий гитарный аккомпанемент. Неподалеку залаяла собака, к ней присоединилась еще одна, и лай их, удивительным образом вплетаясь в музыку, еще больше подчеркивал меланхоличное очарование мелодии.

(Когда же я вставляю ключ в дверь, солнце касается своим последним лучом оконной рамы лестничной пло-

щадки. Начинается торжественный хорал сумерек. Странно, но почему этот предзакатный час напоминает мне «Триумф Афродиты» Орфа? Что может быть общего у распада с богиней любви? А может быть, сумерки — это вовсе и не распад, а всего лишь переход в новое состояние, так же как постоянно переходит в иное состояние любовь?)

Ничего не случается, лишь кончается музыка, и наступает тишина. Пуста квартира, не слышно шагов в коридоре, мир уставший, умятый мир, как зима, когда на календаре март, но еще лежит снег и люди мерзнут в шубах. Я иду на кухню, закурываю сигарету и подхожу к окну. Невидимые нити будущего дождя опутали землю, и запутались в них березы, лиственницы и ели, да и небо, кажется, вплотную притянута к траве.

«Дождь,— думаю я,— скорее бы пошел дождь, ведь в дождь все не так, все иначе, дождь — это будничное зеркалье, вход в которое доступен всем!»

И ударяет тут по окнам резкий порыв ветра, и качаются ветви гигантского тополя за окном, а дождевые струи, натянутые, как гитарные струны, играют нечеловеческую, яростную музыку.

— Ты что? — спрашивает внезапно вошедшая на кухню мама.

— Задумался,— отвечаю я, хотя само это слово настолько неточно, что не передает и сотой части того состояния, в котором нахожусь. Задуматься ведь можно над чем-то, а когда вот так смотришь за окно, по которому лупит оглушительный, яростный дождь, то думаешь сразу обо всем, ощущаешь это все, но задуматься над этим нельзя, как нельзя и понять, ибо это не что иное, как ты сам...

ВЛАЖНАЯ, УПРУГАЯ МУЗЫКА ДОЖДЯ. МАЛЕНЬКИЙ КРАСНО-БЕЛЫЙ ПОПЛАВОК ИЗ ГУСИНОГО ПЕРА. РЯБЬ ОЗЕРА. НАМОКШИЙ, ОБВИС-

**ЛЫЙ ПОЛОГ ПАЛАТКИ. ЗАБЫТЫЙ РАСКЛАДНОЙ
СТУЛЬЧИК НА ТРЕХ НОГАХ. БЕЗЪЯЗЫКОЕ УРАЛЬ-
СКОЕ ЛЕТО. КОНСЕРВНАЯ БАНКА ЛОВИТ ЯЩЕ-
РИЦ. КАКОЙ ЭТО ГОД? 1972? 1975? 1977? 1985? ВРЕ-
МЯ СТАНОВИТСЯ ПРОЗРАЧНЫМ.**

НЕУЖЕЛИ ШТОРМ ВСЕ ЖЕ КОНЧИТСЯ?

...Знаешь, друг мой, может, нам все-таки следовало поехать к друзьям в Таллин? Ведь если эскулапы не пускают тебя на южное побережье, то это совсем не значит, что тебе нельзя и на северное? И тогда я бы не вел эти дурацкие монологичные разговоры, а просто находился бы рядом, и сейчас мы пили бы где-нибудь кофе, и дождь не ощущался бы так яростно, как в этой халупе, где и стены и потолок аккуратно выбелены, а узкая койка так же аккуратно заправлена, на потолке же, неподалеку от лампочки сложив крылышки, примостилась небольшая ночная совка. Ночами всей этой мелюзги здесь до черта, на днях я убил здорового тарангула, а чуть позже ко мне пожаловал жук-носорог. Жизнь с насекомыми, бабочками, жуками и пауками — это может показаться прекрасным, если бы кроме них рядом была ты, но... Нет, друг мой, может, действительно стоило поехать в Таллин, а оттуда махнуть в Ленинград или куда-нибудь еще, то есть провести отпуск так, как мы обычно это и делаем? Сейчас я почему-то задумался над тем, чем занята шезлонговая пара. Она — ну, она-то, наверное, вяжет, а он? Читает газеты? Слушает транзистор? Раскладывает пасьянс? Города умирают, как люди. Иногда это бывает в молодом возрасте. Иногда в зрелом. В старческом? Нет, друг мой, я все больше склоняюсь к той мысли, что нам надо было поехать в Таллин, и вообще стоит подумать о том, чтобы купить машину, пусть мне и нельзя водить, но ведь у тебя и нервы, и зрение в полном порядке, а мне рядом с тобой было бы вполне удобно... Да, друг мой, с

годами все больше и больше хочется уюта. Той пезлонговой паре, наверное, очень уютно вместе. Доживем ли мы с тобой до их возраста, не случится ли что-нибудь, что помешает нам, к примеру, та же звездная война? А может, не звездная, может, атомная, нейтронная или еще какая-нибудь? Единственная, кроме сборничка Басё, книга, которая у меня есть с собой,— переведенный с французского романчик о террористах, когда-то он печатался в «Иностранке»... В нем есть все: и внезапно вспыхнувшая любовь, и внезапно прогрехотавшие выстрелы... Иногда мне кажется, что безмятежность этих дней и лет — всего лишь передышка, но вот между чем? Да, друг мой, видимо, все дело действительно в шторме и дожде, не очень-то благоприятно воздействуют они на психику, сейчас бы выпить кофе, но у меня, к сожалению, только чай... Не помню, сам ли я попросил тебя положить в чемодан этот романчик или ты сделала это по собственной инициативе, хотя суть и не в подобных деталях, просто судьба этого фотографа достаточно сильно увлекла меня прошедшей ночью, но, может, дело в том, что я давно уже не читал ничего вымысленного? Странно, но почему-то я все чаще начинаю вспоминать о том времени, когда мы только познакомились с тобой, друг мой, и пусть столько всего уже случилось к той поре в моей жизни, но все это — за некоей чертой, как бы преджизнь, а жизнь...

Консервная Банка ловит ящериц. Он низко пригибается в траве, затем ложится на живот, как сказочный дракон, и выжидает, пока не прошуршит в нескольких сантиметрах от него маленькое серовато-зеленое тельце, хрупкое и почти невесомое. Когда же в его ладони начинает биться трепетное живое существо, он удовлетворенно вздыхает, смотрит минуту-другую на испуганную мордочку с влажными, печальными глазами и разжимает кулак. И так час, второй, пока на его стареньких штанах не проступят зеленоватые пятна, которые потом так труд-

но отстирывать, а рубашка не начнет прилипать к телу. Тогда он встает, отряхивает штаны и медленно идет к автобусной остановке, насвистывая какую-то мелодию. На остановке подходит к телефону-автомату, бросает монетку, набирает номер Бопмана или Мартышки и долго стоит вот так, прижав нагретый эбонитовый кружок к уху и слушая далекий голос, выпрашивающий, как прошла сегодняшняя охота.

...Дождь за окном становится все сильнее, мигнув, пропадает свет, мама зажигает свечу. За мгновение до этого по телевизору показывали видеоленту, на которой остался дымящийся оттиск взлетевшего с мыса Кеннеди «Аполлона». Наш «Союз» уже подходил к месту встречи на орбите. Шум дождя переходит в рев выхлопных двигателей, удлиненное тело свечи становится строгим серебристым корпусом ракеты.

(ВСЕ ЖЕ, ДРУГ МОЙ, НАДО БЫЛО ПОЕХАТЬ В ТАЛЛИН. ЧТО КАСАЕТСЯ ДОЖДЯ, ТО ОН КОНЧИЛСЯ. Я РЕШИЛ СЪЕЗДИТЬ В ЯЛТУ. А МОЖЕТ, В ГУРЗУФ. ВСЕГО ДВАДЦАТЬ МИНУТ НА КАТЕРЕ. ТУДА И ОБРАТНО — СОРОК. ЕСЛИ БУДЕТ НАСТРОЕНИЕ, ПОЗВОНЮ ТЕБЕ. ВДРУГ ТЫ ДОМА. МНЕ НАДО СКАЗАТЬ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. СТРАННО, НО ОКАЗЫВАЕТСЯ, ПАРА С ШЕЗЛОНГАМИ ЖИВЕТ ЧЕРЕЗ ДВА ДОМИКА ОТ МЕНЯ. Я ИХ ТОЛЬКО ЧТО ВИДЕЛ. НА НЕБЕ ПОЯВИЛИСЬ ПРОСВЕТЫ. ВИДИМО, ШТОРМ ПОДХОДИТ К КОНЦУ.)

...Я протягиваю руку к огоньку свечи и моментально отдергиваю. На ладони остается желтый кружок задетой пламенем кожи.

— В дождь все люди несколько сходят с ума, — замечает мать, разминая в пальцах сигарету. Наконец при-

куривает и повторяет: — В дождь все люди несколько сходят с ума, а лучше бы им раскладывать пасьянсы, это, по крайней мере, укрепляет нервную систему.

— Это уж точно,— говорю я и добавляю: — Мама, как ты думаешь, а как там наши?

— Наши? Наверное, хорошо, да что там наверное, просто хорошо, сидят сейчас, пьют чай, смотрят телевизор и ждут, когда можно будет лечь спать.

Лампочка в люстре на мгновение вспыхивает, снова гаснет, а потом вновь загорается, но уже ровным, ярким светом. Опять гудит телевизор, появляется звук, и по легкой музыке можно определить, что повторение той памятной ленты кончилось. А жаль. Ведь есть вещи, которые можно смотреть практически постоянно, они вроде бы ни к чему тебя не обязывают, но ты смотришь и смотришь на толпу, заполнившую все пространство за оградой космодрома, на высокое цилиндрическое веретено, которое через несколько минут прорежет собою воздух, и понимаешь, что даже тем, что краешком глаза взглянул на этот старт, ты прикоснулся к вечности, ибо пленку эту будут точно так же смотреть через сто, двести да и тысячу лет.

— Кончилось,— говорит мать,— можно задуть свечу. Наверное, скоро и дождь кончится. Странно, когда ты был маленьким, ты не любил дождь, а сейчас...

— Сейчас многое по-другому,— отвечаю я,— зачем вспоминать, что было, ведь мы-то другие...

— Если у человека отобрать воспоминания,— говорит мать,— то и сам он перестанет быть человеком, не будь воспоминаний, не было бы ни любви, ни искусства, ведь любовь, как вспышка, как озарение, но остается память о ней, которая заставляет тебя все равно любить — парадокс ведь — любимого когда-то человека и в то же время возвращаться к нему такому, каким он для тебя уже никогда не будет. Так что не запрещай мне вспоминать!

Она замолкает, сидит на стуле, смотрит телевизор, сигарета дымится в ее пальцах, почти догоревшая до фильтра, с длинным, аккуратным столбиком серовато-черного пепла.

— Знаешь,— вдруг говорит она,— меня вот рисовали многие знакомые художники, и всегда было такое чувство, что, рисуя меня, они рисовали какую-то иную, незнакомую женщину, которая приходила когда-то в мастерскую и долго ждала, когда же наконец кисть положат в баночку с растворителем. Но этого все не происходило, она устала ждать и ушла, а человек потом спохватился, но было уже поздно, и он стал рисовать меня...

Она затушила сигарету, задула свечу, а дождь все продолжал стучать о стекла.

(Я так никуда и не поехал, друг мой. Просто спустился к морю и стал смотреть на то, что наделал шторм. Пляж покрыт водорослями и плавником, много глинистых наносов, речушка, что бежит по территории сада и впадает в море чуть левее пляжа, стала потоком. Все же непогода в Крыму и в наших с тобой местах — понятия несопоставимые, у нас непогода нагоняет уныние, а здесь она подчеркивает какую-то наполненность, порою даже избыточность жизни, но вот чем? Да, друг мой, время становится прозрачным, хотя что именно хочу сказать я этой фразой? Катера еще не ходят, над яйлой появились просветы, прекрасного отдыхающего люда пока не видно, чайки же чистят перышки — видимо, им пора на охоту...)

ПОЛОГ ПАЛАТКИ ОТКРЫЛСЯ. ЧЕЛОВЕК В НЕПРОМОКАЕМОМ ПЛАЩЕ С КАПЮШОНОМ, НАКИНУТЫМ НА ГОЛОВУ, ВЫШЕЛ НА БЕРЕГ И СТАЛ СМАТЫВАТЬ УДОЧКУ. КРАСНО-БЕЛЫЙ ПОПЛАВОК БИЛСЯ НА ВЕТРУ, ПОКА ЕГО НЕ ПЕРЕХВАТИЛО

ЛЕСОЙ. УДОЧКУ БРОСИЛИ РЯДОМ С ПАЛАТКОЙ. ПОЛОГ СНОВА ЗАКРЫЛСЯ.

...Как мне кажется, именно в это мгновение и произошла стыковка советского и американского караблей. Человек же лежал в палатке и слушал, как дождь барабанит о брезентовую крышу. Рыжий ирландский сеттер в его ногах тяжело дышал, далеко высунув розовый шершавый язык. Он уже знал от хозяина, что тот умирает.

— Ничего, Чарли,— говорил ему человек,— завтра за нами приедут на машине и увезут. Тебя — в теплую, большую квартиру, где много народу и есть дети, ты ведь любишь детей... Прости, что мы с тобой всегда жили вдвоем, ты ведь знаешь, как долго я искал женщину, которую смог бы полюбить, а когда нашел, то для меня это оказалось слишком поздно. Ничего, Чарли, сейчас ты будешь жить в квартире, где есть дети, и они будут таскать тебя за хвост, а ты даже не посмеешь зарычать, ради меня, ладно, Чарли? — и он замолчал, а пес подполз к нему и стал лизать в лицо своим розовым, шершавым языком, тихонько поскуливая, будто зная, что завтра уже скоро и машина выехала из гаража. Псу было всего три года, но его отец тоже жил у этого хозяина. Так что они знали друг друга вечность.

Теперь же она должна была кончиться. Пес не верил в загробную жизнь.

Но все равно они были счастливы — рыбалка удалась на славу, и Чарли не раз восторженно носился по берегу, оглушительно лая на пытавшихся уйти с блесны щуку или крупного окуня. Рыбалка была на славу, пока им не помешал дождь, и они с утра забились в крошечное пространство палатки, где места хватало лишь на двоих, а снасти приходилось держать в тайпике под березой. Хозяин читал какую-то толстую книгу, иногда он отрывался от страницы и говорил собаке:

— Да, Чарли, вот это был человек, куда уж нам,

смертным! — и снова принимался шелестеть страницами, а пес смотрел на него, и ему почему-то все время хотелось завывать.

В это время Стафффорд, скорее всего, уже пожимал руку Леонову, и их улыбающиеся лица светились на телеэкранах всего мира.

Я же, совсем на другом озере, слушал музыкальную передачу из Югославии, в которой речь шла о гастролях там группы «Назарет». Диск-жокей распалялся все больше и больше, вот только голос Маккаферти, порою еле различимый из-за помех, был каким-то необыкновенно усталым, будто ему уже до смерти надоело играть в звезду рок-н-ролла и захотелось вновь стать тем, кем он и был когда-то — простым парнем из Шотландии.

Где-то пророкотал лодочный мотор, и все стихло.

На семьдесят девятом километре тракта возле дорожного столбика приткнулась оливковая «Лада». Водитель, сидя на обочине, докуривал сигарету, время от времени поглядывая на часы. Он любил человека с собакой и ему совсем не хотелось отвозить его в больницу, а собаку брать себе. Не потому, что он плохо относился к Чарли, просто собаке нужен только один хозяин и пережить его она не должна.

Но я даже не подозреваю об этом. Я сижу и слушаю усталый вокал Маккаферти да думаю о том, что надо накопать червей для завтрашней рыбалки...

...Да, друг мой, почему я все чаще и чаще начинаю вспоминать о том времени, когда мы с тобой только познакомились? И пусть столько всего уже случилось к этой поре в моей жизни, но все это — за некой чертой, как бы преджизнь, ведь жизнь началась лишь с твоим появлением, а потому, друг мой, я, наверное, столь остро и воспринимаю нашу с тобой временную разлуку, и потому, наверное, в голове все смешалось — произошло как бы одновременное наложение множества картин, ни

одна из которых не является основной, но ни одна не является и менее важной, чем остальные. Только бы, друг мой, ничего не случилось с этим миром, страшно подумать, что этот берег вновь может стать пустынным и что навряд ли придет еще час, когда хоть один ящер да вылезет на эту гальку, да и останется ли галька к тому времени, может, и она выпадет на землю радиоактивными осадками? Грустная это штука — эсхатология, слишком уж конкретно осязаемы все ее слагаемые, слишком уж явно ощутимо воздействие идеи конца света, особенно такого, на каждого человека, в том числе и на нас, друг мой... А море с утра прекрасно, и не подумаешь, что еще вчера был шторм, лишь водоросли, да плавник, да глинистые наносы указывают на это, купаться, правда, нельзя, вода резко похолодала, но это на день-другой, не больше, а там все снова будет как до шторма, и скоро время моего пребывания здесь начнет разматываться к концу, а это значит, что мысли мои будут становиться все обрывистее и обрывистее и все больше будет тянуть к тебе, а не к мрачным эсхатологическим построениям в духе мизантропических антиутопий, хотя в газетах сегодня опять про возможность звездных войн, да вдобавок про то, что Пентагон запустил в разработку новое лазерное оружие, и все это кажется мне столь странным, друг мой, ибо в то же время читаешь про долгожителей и про разнообразные хобби, про мирные инициативы и досрочное выполнение планов, про дружеские визиты, а море ослепительно-синее, и вот-вот приплывут дельфины, которых не было видно — из-за шторма — несколько дней, и вновь появится на пляже прекрасный отдыхающий люд. Нет, друг мой, странно все это, так же странно, как наблюдать и постоянно удивляться этой меняющейся конфигурации южных облаков, пытаюсь найти в них очертания дворцов, храмов и пагод, а также неизвестных доселе сказочных зверей, будто сошедших со страниц таинственной книги «И цзин»... Как все же мне не хватает

здесь тебя, любовь моя, лучше начну я снова читать этот забавный французский романчик да думать о всех тех местах, где нам с тобой не довелось и навряд ли доведется побывать, как хотя бы в том же Риме...

РИМ. ЕГО СПАСЛИ ГУСИ. МОЯ МАТЬ БЫЛА В РИМЕ. А ТАКЖЕ В КОЛОМБО, ДЕЛИ, БЕРЛИНЕ, ПАРИЖЕ, НЬЮ-ЙОРКЕ, САН-ФРАНЦИСКО, СОФИИ, ПРАГЕ, ЛОНДОНЕ. В ЛОНДОНЕ ЕСТЬ МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ ФИГУР, А ТАКЖЕ ГАЛЕРЕЯ ТЭЙТ И МУЗЕЙ РОК-Н-РОЛЛА. КОГДА-ТО Я ЛЮБИЛ ЭТУ МУЗЫКУ. КОГДА-ТО МЫ С ТОБОЙ ВСТРЕТИЛИСЬ ВПЕРВЫЕ. КОГДА-ТО НА ЗЕМЛЕ НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. КОГДА-ТО НА НЕЙ НЕ БЫЛО ДАЖЕ ЯЩЕРОВ. ВСЯ ЗЕМЛЯ БЫЛА ОКЕАНОМ. МОРЕ КРАСИВО. ОКЕАН — ТОЖЕ. ПРИ ВОЛНЕНИИ В ТРИ БАЛЛА КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО! ШТОРМ КОНЧИЛСЯ.

...Моя мать едет по ночным римским улицам на малолитражной «симке», за рулем которой сидит веселый, черноволосый итальянец, их гид, собравшийся показать ей олуненный Колизей. В ее бежевой сумке с маркой «Италтурист» в фирменном пакете лежат новые «Стенджинс», купленные для меня на дешевой распродаже всего за восемь с половиной тысяч лир. Настоящая их цена — тридцать две тысячи. Так что благодаря случаю я обладатель чудесных, небесно-голубого цвета штанов, впрочем, сейчас уже давно поблекших и вытершихся.

Ночной Колизей нависает над маленькой «симкой». Мать испуганно вскрикивает. Шофер говорит ей что-то успокаивающее, и луна заливает две тени в светлой, запыленной малолитражке.

Почти такой же, на какой застыл, изрешеченный пу-

лями, оператор Потоцкий в одном из фильмов Никиты Михалкова.

Римская ночь душная, и на арене Колизея оглушительно стрекочут цикады. Мне же в лицо бьет резкий, холодный ветер, дующий с озера. Если до утра он не стихнет, то ни о какой рыбалке не может быть и речи. А это, пожалуй, единственное, чего мне сейчас хочется.

...Мать выходит из машины и идет побродить между тысячелетних камней. Итальянец достает пачку американских сигарет и щелкает зажигалкой. Она еще новая, и клапан подачи газа действует недостаточно отработанно. Пламя получается довольно высоким, и итальянец испуганно отдергивает лицо. Мама, как раз в этот момент появившаяся у машины, начинает хохотать. Итальянец вначале недоумевает, затем расплывается в улыбке и вторит ей красивым, бархатистым смехом уроженца Неаполя...

ПАРА С ШЕЗЛОНГАМИ ПОЯВИЛАСЬ ВНОВЬ. ВРЕМЯ, ДРУГ МОЙ, ПРОЗРАЧНО. ПОРОЮ ОНО СМЕЩАЕТСЯ. О ЗВЕЗДНЫХ ВОЙНАХ ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ. ОДНА ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ — ЧТО ДАЛЬШЕ? СЕГОДНЯ С УТРА Я ЛОВИЛ КРАБОВ. НА ДНЕ ПЕСОК И ОЧЕНЬ МНОГО РАПАНОВ. МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ В ОДНА ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОМ. ТОГДА МОЯ МАТЬ ЕЩЕ НЕ БЫЛА НИ В БЕРЛИНЕ, НИ В ЛОНДОНЕ. ПОСЛЕ ОБЕДА Я СОБИРАЮСЬ ИДТИ СМОТРЕТЬ НА ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО.

(На территории сада, друг мой, сегодня необыкновенно тихо, прекрасного отдыхающего люда не видно, организованные экскурсии не встречаются. Я чуть ли не час простоял у японского — так его называют здесь — прудика,

созерцая, как поднимаются к поверхности золотые рыбки. Мне вдруг стало казаться, что иудино дерево и земляничное — одно и то же, может, я не прав? Очень уж неправдоподобный сегодня день, друг мой, он весь — как касание чего-то неведомого, в нем нет тревоги, лишь нежность и доброта... Басё, наверное, часто смотрел, как к поверхности подобных прудиков поднимаются подобные же золотые рыбки, а потом шел по старым японским дорогам и сочинял свои хайки... Да, друг мой, очень уж неправдоподобный сегодня день...)

ПАРА С ШЕЗЛОНГАМИ ПРЕДЛОЖИЛА ПОИГРАТЬ В КАРТЫ. ПУЛЬКА НА ТРОИХ. ВО ЧТО Я НЕ УМЕЮ ИГРАТЬ, ТАК ЭТО В МА-ДЖОНГ. И В ЙОГУ ТОЖЕ. ДА И В ШАХМАТЫ ПЛОХО. ЛУЧШЕ ПРОСТО СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ, КАК НАД МОРЕМ ЛЕТАЮТ ЧАЙКИ. ЭТО ОЧЕНЬ КРАСИВО, ДРУГ МОЙ.

...Рыжий ирландский сеттер забился под диван в гостинной четырехкомнатной квартиры. Как раз в этот момент хирург в большой и светлой операционной отложил в сторону скальпель. Его помощи больше не требовалось, и Чарли, будто поняв это, завыл.

А на кухне вкусно пахло ухой из окуней, наловленных еще его хозяином.

И лишь Консервная Банка, восседая на тахте, с упоением читал Майна Рида. Ему было на все наплевать, у него все было впереди. Он читал Майна Рида и слушал, как на улице плотники, переругиваясь, сколачивали забор вокруг будущей стройки. Пахло свежеспиленным лесом, а в перестуке молотков слышалась музыка уходящего лета.

— Летний стук за окном, — пробурчал сам себе под нос Консервная Банка, — летний стук за окном, когда ветер теплой ладошкой шевелит тебе волосы и кажет-

ся, что ты всегда будешь таким, как в этот день,— сильным и смелым, готовым на все ради одной той идеи, что жизнь — класснейшая штука и лучше никто еще не придумал! — И ругательства плотников казались ему сладчайшей музыкой кузнециков.

Как раз в этот момент мой друг, поэт, поймал ящерку прямо у подножия толстой сосны, что растет неподалеку от их садового участка. Серо-зеленое тельце, черные, испуганные глазки... Тогда он хмыкнул, сел на траву и стал сочинять сонет, в котором ему хотелось сказать, почему он так любит ловить этих зверушек...

...Друг мой поэт, одинокий, как ящерица...

ОН ДАВНО УЖЕ УМЕР. БАСЁ — ЕЩЕ РАНЬШЕ. КОГДА-НИБУДЬ УМРЕМ И МЫ С ТОБОЙ. УЕДИНЕННОСТЬ НАСТРАИВАЕТ НА МЕЛАНХОЛИЧНЫЙ ЛАД. АМЕРИКАНЦЫ ПРОИЗВЕЛИ НОВЫЙ ЗАПУСК «ШАТТЛА». ДОРОЖКА ПОШЛА В ГОРУ. СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ЧЕРЕСЧУР УЧАЩЕННО. ОН УМЕР В 1978. МЫ УЖЕ ГОД КАК БЫЛИ ЗНАКОМЫ. ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ Я ХОДИЛ В 1972. СОВМЕСТНЫЙ ЗАПУСК «СОЮЗ-АПОЛЛОН» БЫЛ В 1975. ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД. ИНОГДА КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ ЭТО БЫЛО СНОМ.

...А вечером мы сидели с ним у камина в его дачном домике и размышляли о том, каким способом можно поймать Великого Морского Змея.

Тогда мы еще оба верили, что он существует.

Огромное, ребристое, с твердым панцирем морское чудовище. Фантом, извивающийся на копье Георгия Победоносца.

А за окном печально и пронзительно кричала какая-то ночная птица.

...С больной, тяжелой, похмельной головой бреду я по мосту, отделяющему проспект 100-летия от остальной части вечернего Владивостока, погруженного в дождь и дрему, с неясными силуэтами кораблей на рейде, а в голове у меня пульсирует: «Вода в стакане соленая, теплая. Она из морей, далеких, как выздоровление».

Мне кажется, что я смертельно болен, название этой болезни еще не придумано, я бы назвал ее неприкаянно-стью.

В чужих городах ты всегда бежишь от самого себя. Особенно когда города эти прекрасны.

По ночному порту шныряют какие-то тени, сердце мое замирает и падает, падает...

Маленькая «симка» срывается с места и вливается в поток автомобилей, несущихся к центру Рима...

РИМ. ЕГО СПАСЛИ ГУСИ. МЫ С ТОБОЙ НЕ БЫЛИ В РИМЕ. МОЙ ДРУГ, ПОЭТ, УЖЕ УМЕР. ДЕЛЬФИНЫ ОПЯТЬ ПОДПЛЫЛИ К БЕРЕГУ.

...Дельфины опять подплыли к берегу, друг мой, как жаль, что их нельзя покормить из руки хлебными крошками, будто каких-нибудь симпатичных зверушек. Остается сидеть на лежаке и смотреть на то, как они выпрыгивают из воды, делают пируэты и свечи, снова уходят в воду, разрезая ее своими черными, лоснящимися спинами. Говорят, что так много дельфинов, как в этом году, не было давно, интересно, это тоже примета? Им не мешает даже то, что на воде сегодня — столпотворение, после шторма все возбужденные, радостные, группа молодых парней занимается виндсерфингом метрах в пятидесяти от акватории пляжа, какие-то остолопы ездят на допотопных водных велосипедах, а ближе к горизонту четко просматриваются ребристые треугольники парусов двух яхт. В общем, друг мой, синее море, белый пароход, картинка из цветного буклета «Посетите Крым — всесо-

козную здравницу». Я весь в каком-то лихорадочном состоянии, только вот приподнятость это или опустошенность? Шезлонговая пара вновь приглашает расписать пульку, но на карты смотреть не хочется, уж лучше — на море, на черные, лоснящиеся дельфины спины, на зеленоватые макушки волн, на далекие очертания яхт. Правда, все это напоминает мне мудрость Бунана — «живя, будь мертв, будь совершенно мертв — и делай все, что хочешь, все будет хорошо», впрочем, чем и хороши дзэнские загадки, так, пожалуй, лишь тем, что благозвучны, а следовать им бесполезно. По радио передали, что в Прибалтике дожди, а это значит, что если бы мы с тобой были сейчас в Таллине, то ходили бы в плащах и нам бы так хотелось тепла и солнца. И того и другого здесь хватает, друг мой, но это не улучшает мое настроение. Может, Бунан все же был прав? Интересно устроен человеческий мозг, насколько странно порою он начинает мыслить, иногда мне кажется, что делает он это попросту в стороне от своего обладателя, в данном случае — от меня... Чего ради, друг мой, мне вспомнился этот древний мудрец именно сегодня, здесь, на пляже, когда черные, лоснящиеся дельфины спины с таким смаком разрезают воду, а бабочки вновь покинули свои потаенные убежища и кружат прямо над отдыхающими, над всем этим прекрасным людом — и махаоны, и парусники, и маленькие аполлоны-мнемозины, черные аполлоны, которых до шторма я здесь почти не видел? Как странно, что вот-вот и сентябрь, а здесь его приближение еще не ощущается — ни пожелтевшей листвы, ни особо прозрачного по утрам воздуха, совсем не то, что в наших с тобой местах, друг мой, там ты это, наверное, чувствуешь в полной мере...

...Маленькая «симка» срывается с места и вливается в поток автомобилей, несущихся к центру Рима. Огромные буквы, своими размерами и блеском перекрываю-

щие луну, извещают о предстоящих гастролях «Роллинг Стоунз». С черного овала диска, крутящегося на вертушке в ближайшем баре, срывается и улетает в небо раздраженный и злой голос Мика Джаггера, поющий «Полуночного бродягу». «Симка» исчезает по направлению к Дворцу правосудия. Порыв ветра проносит по Великому Городу запах разлагающейся листвы. Я же сижу на лавочке возле фонтана, находящегося в самом центре площади маленького провинциального городка, и смотрю, как седенькая сухонькая старушка в синей косынке кормит размягченными в воде хлебными крошками стаю голубей. Я один, и у меня только и есть, что сумка со сменой белья и немного денег.

Мальчишка, внезапно появившийся на площади, оглушительно свистит, и голуби резко взмывают в воздух. Старушка презрительно складывает губки дудочкой, отчего становится похожа на кокетливую пиковую карту, и мелкой, семенящей походкой направляется прочь. Мальчишка показывает ей в спину язык, садится на каменный бортик, что ограждает чашу фонтана, и начинает болтать ногами.

Раздаются резкие траурные звуки, и на площади появляется похоронная процессия. Высокий, тощий, седусый музыкант, пожевывая кончики усов, натужно и торжественно бьет в большой барабан. Затем процессия сворачивается в тугую клубок и потихоньку начинает разматываться в узкую улочку, ведущую на северо-запад, по всей видимости, на кладбище.

(ЗАЧЕМ Я РАССКАЗЫВАЮ ТЕБЕ ВСЕ ЭТО, ДРУГ МОЙ? МОЖЕТ, ПРОСТО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕИЗВЕДАННОЕ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ НАМИ ИСЧЕЗЛО, КАК ИСЧЕЗЛИ В ОТКРЫТОМ МОРЕ ЧЕРНЫЕ, ЛОСНЯЩИЕСЯ СПИНЫ ДЕЛЬФИНОВ? ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА, ДРУГ МОЙ, БУНАН БЫЛ НЕ ПРАВ!)

Лень и безмолвие, гнетущее блаженство полудня, когда никто никуда не спешит, замерла бурно начавшаяся утром деятельность, и лишь отдаленный пульс большого барабана прерывает эту тишину с тем, чтобы тоже замереть, исчезнуть, раствориться в этом великом покое, когда каждый знает, кто он и что ему надо, и в то же время не знает ничего, ибо как можно знать, ничего не желая, как можно чего-то желать, не зная зачем?

Две накрашенные девицы, неизвестно как появившиеся здесь, присаживаются рядом со мной на лавочку и начинают подмигивать мне своими ежеобразными ресницами, как бы вступив между собою в борьбу за право мною повелевать. Для них, видимо, это вопрос жизни и смерти — настолько довело их безделье и ежевечерние пляски на местной танцплощадке, что совсем неподалеку отсюда. Потные, в тесно облегающих платьях, открывающих ноги и грудь насколько это мыслимо, с аморфными, клейкими ладонями, глазами, полными блеска и отчаяния, чужие всем и самим себе, желающие лишь одного — обхватить крепко-накрепко руками спину, за которой не проберет тебя до костей ветер, за которой тепло и тихо, и чтобы так вечно, чтобы несло тебя по гладкой асфальтовой ленте, бесконечно уходящей в ночь, и чтобы никто от тебя ничего не требовал, и чтобы все было просто и ясно, как примитивная мелодия, изрыгаемая обшарпанным, старым музыкальным автоматом, глотающим потерянные пятаки.

И так без остановки, не переводя дыхания, ибо любая остановка — смерть, ведь надо задуматься, надо ужаснуться себе, а это страшно, это чревато раскаянием, муками сердца, полуночными слезами, когда кажется, что так будет всегда и никогда не будет утра. Пусть уж так, так тише, так спокойнее и привычнее.

...Я же насквозь пропах пылью и солнцем, и кажется, что ничто и никогда не вытравит из меня этот запах.

Появившаяся на площади орава молодчиков отвлекает

от меня внимание девиц, и вскоре красноречивые «Явы» уносят их к новым кругам наслаждений.

Слава богу, что эти идиоты не затеяли драку.

(Я В ЯЛТЕ, ДРУГ МОЙ. РОЗЫ ВСЕ ЕЩЕ ЦВЕТУТ, АЗАЛИИ И ОЛЕАНДРЫ — НЕТ. ЗВОНИТЬ ТЕБЕ РАЗДУМАЛ, ДА И ВООБЩЕ — ЕСТЬ ЛИ ТЫ? В ПОРТ ЗАШЛО СУДНО ПОД ГРЕЧЕСКИМ ФЛАГОМ. КУПИЛ БИЛЕТ НА САМОЛЕТ.)

...А Гильб уже высвистывает меня с неправильного круга площади. Автобус, тряска на поворотах, комок тошноты, подкатывающий к горлу. Пыль, духота. Полное и жадное бедро соседки, твой локоть, играющий в ее грудь, разбухшие от пота джинсы, прилипшие к паху и ягодицам, нарастающий звон в ушах, как в самолете, провалившемся в воздушную яму. Остановка, передышка, возможность удобрить землю и выкурить сигарету, сидя в тени старого «ЛАЗа». И вновь полное и жадное бедро соседки, и тихое убаюкивание дороги, и печальный разговор молодоженов, сидящих напротив. Печальный, ибо не знают они еще того, что предстоит им, пока не найдут они свое милое семейное счастье, такое желанное, такое придуманное, но возможное. Они не слышат эту свою печаль, для них все еще впереди, а главное, что они вместе, и он целует ее волосы, а она прячет глаза, и они счастливы, как бываем счастливы все мы хоть раз в жизни, когда тебе кажется, что жить ты будешь вечно и никогда больше не будешь один...

...Но отчего все-таки сегодня такой грустный день, друг мой? Может, все дело в том, что я вырвался из своего никитского уединения и уехал в Ялту, эту курортную мешанину, где всем так безразлично-весело и где такая большая набережная, на которой и днем народу слишком много? У местных пальм печальные листья, в кафе

«Русский чай» слишком большая очередь, так что от мысли зайти туда мне пришлось отказаться, как, впрочем, и от желания поиграть на игровых автоматах — к их павильону не протиснуться из-за детворы. Почему ты так не хочешь ребенка, друг мой, конечно, звездные войны — звездными войнами и эсхатология — очень печальная штука, но ведь не одни мы с тобой живем в мире этих связанных понятий? Апатия и инерция, друг мой, вещи страшные, города действительно умирают, как люди, но люди хотят жить, а значит — продолжать свой род... Хорошо, что именно в такой день, как сегодня, мы разделены с тобою пространством и я не могу сказать тебе все это, хотя если всерьез задуматься, то кому еще я все это говорю? Греческое судно только что покинуло порт, дав на прощание мощный, красивый, басистый гудок, как я понял из разговоров на набережной, оно отправилось в Марсель с заходами в Стамбул и Неаполь, слова эти кажутся мне сейчас слишком нереальными, чтобы в них можно было поверить, не говоря уже о реальном существовании этих городов... Нет, друг мой, нам все же следовало бы родить ребенка, может, от этого конкретно для нас в мире наступила бы хоть какая-то стабильность? Я задаю слишком много риторических вопросов, друг мой, это от неуверенности, но чего я боюсь?..

ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ. АВТОГОНКИ. МОРСКОЙ БОЙ. ЭКСПЕДИЦИЯ НА МАРС. ЧТО ТАМ ЕСТЬ ЕЩЕ?

...Моя мать, сидя в маленьком кафе возле венецианского канала Гранде, заказывает двойной кофе-эспрессо. Она только что вернулась с экскурсии во Дворец Дожей.

Консервная Банка, вытирая кровь с лица, старается понять, из-за чего его бывший друг Мартышка запустил в него камнем.

— Хорошо хоть не в висок! — говорит Бодман. — Зна-

ешь, Консервная Банка, будь ему благодарен, что камень попал не в висок, а просто рассек кожу на лбу.

— Конечно,— отвечает Консервная Банка,— я ему благодарен, только он все равно сволоочь, что кинул в меня эту каменюгу, если бы я знал за что, если бы было за что!

А Мартышка, забежав домой и съев бутерброд с колбасой, переодевается и идет в кино. Он-то знает, за что шабаркнул камнем в Консервную Банку, впредь будет умнее, не станет приставать к Наташке со всякими разговорами, знаем мы эти разговоры... Нет, пусть живем в одном дворе, пусть учимся в одном классе — это все хорошо, но Наташка Наташкой, слишком долго я за нею бегал, чтобы какой-то типчик, какой-то пижон смог ее так быстро отбить. Пусть походит с блямбой на морде, это с него посбивает спеси, кончит ей байки заливать... Вот только Боцман... А что Боцман?

И Мартышка устремляется ко входу в кинотеатр, где стоит уже предмет его любви, тоненький и большеглазый, добрый и вроде бы недалекий, то есть как раз такой, какой и нужен Мартышке.

И красавица Анжелика, обольстительно улыбаясь, отступает в глубь сарая, где виднеются большие охапки сена...

...Бытие мое здесь, друг мой, становится предельно стереотипным. Вновь утро, вновь насыпная галька пляжа, все следы недавнего шторма исчезли, пара с шезлонгами вчера отбыла в родные края, уговорив меня на прощание еще разок сыграть с ними в карты — давно я не предавался такому сладостному отпускному безделью, как в эти дни, думаю, что этого мне хватит надолго, да и зима впереди, как представишь, что надо снова влезать в эти шубы и шапки, друг мой,— тоска берет, да еще какая! От вчерашней грусти не осталось и следа, но ты ведь знаешь, что подобные перепады на-

строения — вещь для меня обычная, и действительно — благоприятен, по всей видимости, брод через великую реку и как приятно вновь вспоминать эту мудрую, безмятежную книгу! Думаешь ли ты обо мне хоть иногда, чувствуешь ли то, что я пытаюсь рассказывать тебе здесь? Для меня все это не что иное, как просто способ быть ближе к тебе в эти дни, друг мой, хотя я все больше убеждаюсь в том, что нам все-таки следовало бы поехать в Таллин, но что толку думать сейчас об этом? Французский романчик я дочитал еще вчера вечером, теперь читать больше нечего, и я лежу на пляже, закрыв глаза, и не имею ни малейшего желания идти в воду. Рядом компания молодых ребят гоняет в кассетнике какую-то легкую музыку, жарко, хотя с моря и дует слабый ветерок, подобные мгновения имеют свойство не прекращаться, даже в памяти они осязаемы физически, чего, к примеру, не скажешь о мгновениях нашей с тобой близости, но думать сейчас об этом мне просто больно, так что я продолжаю лежать, закрыв глаза, слушаю музыку, да шум моря, да крики чаек, неужели это и есть идиллия или — по крайней мере — что-то очень близкое к ней? Надо бы после обеда сходить в сад, погулять по его узким, черным тропинкам, хотя, скорее всего, я вновь спущусь сюда, к этому своему лежаку, и вновь буду лежать на нем с закрытыми глазами, пытаюсь хотя бы в памяти да свести временные концы, ибо время, друг мой, несмотря на свою прозрачность, все же смещается, только вот куда, к концу ли, к началу?..

ВРЕМЯ ПРОЗРАЧНО. ПО КУРТИНАМ ХОДИТЬ ЗАПРЕЩЕНО! ДЕЛЬФИНОВ СЕГОДНЯ НЕ ВИДНО.

...Мартышкина рука ложится на круглые девичьи колени, но глаза, не отрываясь, смотрят на Анжелику. «Вот это да,— думает он,— вот была бы Наташка такая, как хорошо бы было!» Он кладет руку еще выше и

еще, пока наконец не чувствует, как она сжимает ноги, пытаюсь не допустить его до своего целомудрия. Но кончиками пальцев он все равно ощущает тоненькие кружевные плавки, и он горд, горд тем, чего сумел добиться за сегодняшний день — набив морду бывшему другу и добравшись почти до самой границы того, что снится ему так часто... Позже, вечером, когда он будет провожать ее после кино, он не рискнет не то что обнять эти худенькие плечи, а даже взять ее за руку, но сейчас, в темноте, все доступно, и потная, липкая рука Мартышки навечно впечатывается в ее тело.

Годами не сможет она отмыть это прикосновение. Если, конечно, не забудет, как это было и с кем. Но навряд ли, ведь никакого греха, ведь ничего не случилось, и стоит ли помнить, что много лет назад, сидя в кинозале, в котором шел фильм, на который ты попала только потому, что тетка твоего кавалера — билетер, иначе бы не пустили, а это обидно, ведь какая ты маленькая, если и десятиклассники уже стараются зажать тебя где-нибудь в уголке коридора, особенно когда на тебе короткая юбка и свитерок, обтягивающий маленькую, но упругую грудь, ты позволила лапать себя тому, кто не то что на прикосновение, на взгляд в твою сторону не имел права. Ибо из-за тебя ударил человека. Не в облегчение, в боль.

— Спасибо, Мартышечка, хорошее кино было, мне, знаешь, очень понравилось! — говорит девочка и исчезает в двухстворчатых дверях подъезда, и видно лишь, как тень ее мелькает за освещенными вечерними окнами.

(Может, я не думал бы так мучительно об этих ребятах, если бы мне казалось, что я не просто знаю их всю свою жизнь: жизнь моя неотрывна от них и, раз уж мы сведены вместе, нас ничто не может разлучить. Конечно, до тех пор, пока всем нам светит солнце...)

...Соскочив с подножки трамвая, Кошсервная Банка подбегает к стоящей на остановке Наташе. «А ты не бо-

ишься?» — спрашивают ее глаза. «Нет, конечно же, нет!» — и они, взявшись за руки, бредут не глядя по улице, ибо все — и школа, и дом, и Мартышка — внезапно отошло в прошлое, разлетелось на множество мельчайших кусков и исчезло. Есть только сегодня, и пусть оно пребудет как можно дольше, ведь если не сегодня, то когда еще они смогут найти свое счастье? Бескорыстное, наивное, мгновенное и мимолетное, только до вечера, до той поры, пока люди не пойдут с работы и в квартирах не зажгутся манящие ямы телевизоров...

ВСЕ ЭТО БЫЛО, ДРУГ МОЙ, ВСЕ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛО. 1972. 1975. 1977. 1985. СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ ВРЕМЕНИ? НЕУЖЕЛИ КОГДА-ТО МЫ НЕ ЗНАЛИ О СУЩЕСТВОВАНИИ ДРУГ ДРУГА? ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА?

...За этот день они узнают друг о друге ровно столько, сколько можно за один день, но он вместит в себя и всю их прошедшую жизнь, такую короткую и огромную. Консервная Банка расскажет ей о своем отце, который больше всего на свете любит тот момент, когда весною в парках начинают сжигать прошлогоднюю листву, а ему кажется, что вместе с листвою сгорает и все то плохое, что было за зиму и за давнюю уже осень, а плохого всегда ведь случается немало. Так, в этом году от них ушла мама, ушла, оставив отцу записку, где была приписка и ему, но он не стал читать ее, хотя не убрал мамин портрет из своей комнаты и по-прежнему любит ее больше всех на свете... И про то, что отца в прошлое лето укусила змея, но все обошлось, как это ни странно, но с ним всегда все обходится, а вот как будет у него — хотел бы он это знать! И он услышит рассказ про Наташиного брата, про то, какой у нее чудесный племянник, и про то, какой все же нехороший Мартышка, он позволил себе

такое, чего никогда и никто еще с ней не позволял, но вот если бы это был Консервная Банка...

Тогда он сорвал с клумбы какой-то пышный белый цветок, и Наташа гордо воткнула его себе в волосы.

Такого больше не будет, никогда не будет, нельзя вернуться к тому, что было светло и прекрасно, к тому, когда и ты был другим.

(...Опять ночь, друг мой, опять кричат дикие голуби и что-то очень уж мрачно шумит ветер на склонах яйлы. Только что кончили передавать последние известия, ничего особенного в мире не произошло. Я лежу на своей спартанской койке и думаю о том времени, когда в море водились ящеры. Одиноко мне без тебя, друг мой, пусть в этом и не хочется признаваться... Тебе не кажется, что ночь многое атрофирует, оставляя при этом лишь самое основное? К примеру — любовь и память...)

— Мама,— говорю я,— мама, дождь кончился, можно пойти погулять. Сейчас в лесу хорошо, тихо, лишь изредка пролетит низко-низко сова да запоздавшая белка шмыгнет в дупло. И пахнут деревья после дождя...

Она не отвечает, видимо, уже спит. Я же сижу и слушаю гулкое уханье совы в недалеком и темном лесу.

Так же ухала она в тот вечер в лесу возле нашей дачи. Как и сейчас, стоял сентябрь. В заброшенной деревне, что напротив, печальным лаем заливались собаки, и было пустынно в моей маленькой комнатке на чердаке, такой маленькой, что в ней трудно встать в полный рост. Лампа под зеленым абажуром, горящая на столе, бросала тень на старую, расшатанную койку и стены, покрытые ржавыми, давно уже не сменявшимися обоями.

Я не ждал гостей, я не ждал друзей, я никого не ждал...

**ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ НАДО БУДЕТ ПЕРЕЧИТАТЬ
БРАУТИГАНА. ФОРЕЛЬ ПОДАЮТ В РЕСТОРАНЕ
«КАРАГОЛЬ». ПРЕЗИДЕНТ РЕЙГАН ВЫСТУПИЛ
ПЕРЕД КОНГРЕССОМ.**

...Можно посчитать, что все это было добровольным заточением. Но ведь перед заточением всегда — преступление: сознаюсь, я бежал. До сих пор не могу понять, что происходило тогда со мной, но надо, иначе никогда не смогу вернуться я в ту комнату и пережить такой вот сентябрьский вечер, когда сова гулко ухает неподалеку от окна, и ветер несет в него лай собак, печальный и бесконечный, от которого неприятный озноб пробегает по телу и нападает бессонница.

Хотя всего лишь несколько часов назад я приехал на конечную остановку автобуса и, насвистывая, свернул в лес.

Я бежал сюда от городских аллей, залитых ошалелым солнцем бабьего лета и полных тем безумным настроением, которое всегда — на грани солнечной агонии, когда кажется, что это последнее, что вслед за этим ничего уже не будет, лишь снег и долгое молчание зимы. Там, в городе, на одной из этих аллей, я и оставил ту, от которой меня унес поздний дачный автобус. В коричневом костюме, с распущенными до плеч волосами, с надломленной временем и неудачами фигурой, но все равно такой женственной и прекрасной осталась она сидеть на обшарпанной скамейке...

— Ты еще ребенок! — сказала она, и я ушел, оскорбленный ее словами, ее нежеланием видеть во мне мужчину, а не только человека.

Хотя более близкого друга у меня не было. Она ведь не только проявила во мне любовь, она разбудила во мне доброту.

Когда я впервые увидел ее, то меня поразили этот тра-

гический излом бровей, этот вздорный, капризный, надменный рот. Роста она была среднего, но изящество фигуры заставляло считать ее женщиной статной. Высокая, крепкая, красиво очерченная грудь могла свести с ума хоть кого. Да еще ее умение одеваться, носить каждую вещь так, будто она одна в целом мире владела ею.

Был дождь, легкий, летний, июльский. Она вбежала в нашу квартиру, мокрая, растрепанная, спросила маму и внезапно застыла на месте, вся охваченная светом появившегося в небе солнца и осветившего ее через наше огромное, старое кухонное окно.

Немудрено, что я сразу влюбился, ведь я только кончил школу.

Мне нравилось ходить с ней по городу — длинноволосый парень в джинсах и свитере рядом с элегантной женщиной, прекрасней которой, как мне казалось, не было в мире.

Не скрою, ей это льстило. Не только мое внимание к ней, но и то, что своей юностью и неуклюжестью я оттенял ее красоту. Я был пажем, который нес нескончаемый шлейф обожания.

И все кончилось. Она назвала меня ребенком, в шутку, как уже бывало неоднократно, но в этот раз я не стерпел и даже не оглянулся посмотреть, как она там, на скамейке, под осыпающимися кронами сентября.

На следующий день она попала в беду — переходила улицу и угодила под машину. Ее оттолкнуло далеко в сторону. Слава богу, что осталась жива — так говорили наши общие знакомые. Конечно, я не был в этом виноват, ни капельки не был в этом виноват и глупо так даже думать, но... Всегда ведь есть какое-то «но», и кто знает, что могло бы случиться, если бы предыдущий день сложился иначе...

Уходя в холмы, далеко-далеко от города, где родился, я уношу с собой и ее имя, как и имена всех остальных, соприкоснувшихся с моей жизнью.

Даже будучи уверенным, что многие из них этого не хотят...

В солнечные, теплые холмы с такою зеленой травой...

...Вот и наступил этот день, друг мой. Завтра я уже буду рядом с тобой, а сегодня — торжественная, чуть даже высокопарная минута прощания со всей этой южной бижутерией: азалиями и олеандрами, насыпной галькой пляжа, черными, лоснящимися дельфиньими спинами, бамбуковыми зарослями на нижней террасе Никитского ботанического сада, парусниками-подалириями и махаонами, прекрасным отдыхающим людом и всеми прочими ландринowymi аксессуарам, что помогли мне просуществовать здесь неполный месяц... Отчего-то именно сегодня все эти причудливые понятия местного быта враз свалились на меня и я просто погребен под ними, все еще лежа на своем лежаке, неподалеку от такой беспомощной и ласковой сейчас волны... Что я так мучительно хотел понять все это время, что хотел рассказать тебе? Калейдоскоп, волна звуков и запахов, тишина, когда кожей чувствуешь радиоволны, шорох полос завтрашних газет, так свежо и сладостно пахнущих типографской краской... Жаль, что шезлонговая пара уже уехала, сейчас бы как раз расписать с ними пульку или просто поговорить о чем-нибудь, хотя бы об их жизни, может, это было бы более приятно, чем думать о том, что никогда не вернется? Я очень люблю тебя, друг мой, звездные войны — звездными войнами и эсхатология — очень печальная штука, но я люблю тебя, и здесь я понял это как-то особенно обостренно. Наверное, если человека лишить памяти, то он перестанет быть человеком, и моя мать, тогда, очень давно, была права, говоря это? Страшно сознавать, что время прозрачно, еще страшнее — что оно обладает свойством смещения, и неужели наша Галактика действительно идет к своей гибели, друг мой? На будущий год мы поедem в Таллин, это будет уже совсем иное время,

да и мы с тобой в чем-то станем другими, но никогда не надо забывать... Бунан был не прав, друг мой, и действительно — благоприятен брод через великую реку, но все это понятия, не более, намного ценнее, когда абстрактные реалии становятся чем-то живым, как, к примеру, вновь подошедшая к берегу стая дельфинов, будто приплывшая сюда специально, чтобы попрощаться со мной...

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПЛЯЖ. ВХОД С МОРОЖЕНЫМ И ФРУКТАМИ ЗАПРЕЩЕН.

ПРИ ВОЛНЕНИИ В ТРИ БАЛЛА КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!

Крупная, привозная галька. Полоса пляжа в ширину не больше двадцати метров, море абсолютно спокойно. Жарко. Вода иссиние-прозрачная, чайки, черные, лоснящиеся дельфины спины. Все это гонит тебя туда — в спокойную волну, в иссиние-прозрачное море. Мокрый бетон волнореза, солнцем нагретый лежак...

ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ. АВТОБУС В ВОСЕМЬ ВЕЧЕРА. САМОЛЕТ В ОДИННАДЦАТЬ. ТЫ БУДЕШЬ МЕНЯ ВСТРЕЧАТЬ?

...Наташа, смеясь, с разбегу бьет ракеткой по волану, и он высоко летит над сеткой, заставляя Консервную Банку бежать за черту площадки, чтобы хоть там, да поймать его.

— Слабак,— кричит она ему,— ну и слабак же ты, давай!

И он ударяет по резиновой шапочке, обтягивающей длинные пластмассовые перья, волан взмывает над сеткой, солнце бьет Наташе в глаза, но она отбивает подачу и показывает Консервной Банке свой маленький, розовый язычок, как бы говоря: куда тебе, а еще парень! — но

через мгновение волан проносится возле ее щеки и зарывается в невысокую, подстриженную траву бадминтонного корта.

— Два — пять, — объявляет судящий их Бопман, и Наташа нехотя поднимает волан с земли и бросает его Консервной Банке.

Им всем хорошо, хотя они и не знают, что с ними будет.

Как не знаю этого и я, сидя с моим другом, поэтом, у него на даче и размышляя о том, как можно поймать Великого Морского Змея. Тогда мы еще верили, что он существует...

ВЕТРА НЕТ. ЧАЙКИ СИДЯТ НА ВОДЕ И КАЧАЮТСЯ НА НЕЙ СЕРО-БЕЛЫМИ ПОПЛАВКАМИ.

...— Может, ты все-таки переедешь ко мне? — спрашивает мама.

— Нет.

— Чем ты это объяснишь?

— Знаешь, по-моему, любой человек должен быть там, где его корни. Можно, конечно, сказать, что корни — это прямые предки — мать, отец, бабушка, дедушка... Это есть, но есть еще и то, что принадлежит только этому человеку, лично тебе, лично мне. Это не память, не воспоминания, просто какие-то разрозненные куски, видения, от которых тебе никуда и никогда не уйти. И ты должен быть там, где все напоминает тебе об этом, каждая улица, каждый дом, скверик и дерево. Можно родиться в одном месте, хотя корни твои окажутся совсем в другом, как можно любить одну женщину, не подозревая, что счастье ждет тебя в ином месте. А потом, мы с тобой мать и сын, это совсем не те отношения, чем, например, с дочерью.

— Знаю, — говорит мама, — это уже истина.

— Да, — отвечаю я, — истина, и поэтому не стоит об

этом и говорить, ибо везде, где бы мы с тобою ни были, мы будем помнить друг о друге и любить друг друга, но редко когда наберемся смелости понять и простить.

— А так ли уж это и надо, прощать?

— Не знаю, о таких вещах лучше вообще не думать, ведь это всегда к чему-то обязывает против твоей воли, а каждый из нас должен поступать лишь в согласии с ней.

— Но зачем уезжать, зачем оставлять человека, которому ты нужен?

— Но ведь есть еще люди, которым я нужен, причем не меньше, чем тебе. По-другому, конечно, но нужен, и они мне все нужны. Без них я не могу так же, как не могу без тебя. Да и потом — все мы живем в одном мире...

— Что же,— говорит она мне,— все равно спасибо, что пока ты здесь. Ты еще не можешь понять, что для меня это всегда — продолжение жизни, возвращение молодости, всегда, когда ты рядом со мной...

**ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПЛЯЖ. ГАЛЬКА. ДЕЛЬФИНЫ.
МОРЕ СПОКОЙНО.**

...Прости, если что не так, друг мой. Единственное, чего я боюсь в жизни,— так это принести тебе боль. Уже объявили посадку, чемодан я сдал в багаж и даже успел купить тебе цветов, ты ведь всегда любила розы, друг мой, а здесь они особенно красивы. Что же касается насыпной гальки, Бунана, звездных войн и прочих предметов моих размышлений, то они остались там, на пляже. Все же очень жаль, что тебя не было со мной, друг мой, но ведь время прозрачно, и ты узнаешь все это, ведь через три часа мы будем вместе, если, конечно, с самолетом ничего не случится...

**ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО. ИУДИНО ДЕРЕВО.
ПАЛЬМЫ. БАМБУК.**

КРЫМСКИЕ РОЗЫ СТОЯТ ДОЛГО. КАК МИНИМУМ — НЕДЕЛЮ.

...Ночь, тишина, спящий город, спящая улица, небо по-зимнему ясное, черное, тревожное, как ночь, с яркими точками звезд. Кожей чувствуешь радиоволны, шорох полос завтрашних газет, кожей чувствуешь, как течет время, как летит этот ночной самолет с полузатемненным салоном. Ночь, тишина, возвращение...

ИНТЕРЕСНО, БУДЕШЬ ЛИ ТЫ ВСТРЕЧАТЬ МЕНЯ, ДРУГ МОЙ? ВЕДЬ САМОЛЕТ ПРИЛЕТАЕТ НОЧЬЮ.

1977, 1982, 1985

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Быков	
В поисках собственного времени	5
КТО ТЫ, ГДЕ ТЫ, КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?	
(Рассказы)	
Давнее лето	10
Мальчики на канале	14
Друг	18
Кто ты, где ты, как тебя зовут?	21
Парень из музкоманды	26
Слышать... бежать... видеть...	30
Воспоминание об «ангелах ада»	35
Те далекие белые башни	39
Малыш	46
В шторм, неделю назад	52
Скажите что-нибудь друг другу	57
Путешествие в Японию	62
Завтра подует левант	66
Без заглавия	70
Колесо обозрения	75
По метеоусловиям	82
Размышления о Катманду	86
Забытая раковина	92
Не упустить змея!	96
КОНСЕРВНАЯ БАНКА И ДРУГИЕ	
(Повесть в рассказах)	
Пусть дождь идет	102
Иные	105
Неопознанные Летающие Объекты	109
Джипсы из Сан-Франциско	113
Мартышка	119
Время игр кончилось	122
На стопятидесятом километре	127
НА ОЗЕРЕ	
(Повесть)	
135	
МЫШКА-НОРУШКА	
И ЛУНА В ПОЛДЕНЬ	
(Повесть)	
157	
ВОЗВРАЩЕНИЕ	
(Повесть)	
213	

Матвеев А. А.

М33 С августа по сентябрь: Рассказы и повести/Предисл. Быкова Л. П.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1988.— 272 с.

В пер.: 90 к. 15 000 экз.

Книга о современных молодых людях, прошедших джинсовый бум, увлечение рок-музыкой и на пороге зрелости задающихся вопросом: так ли я живу? для кого живу? Написанная в исповедальной манере, книга отражает чаяния и несбывшиеся мечты нынешних тридцатилетних.

М 4702010200-001
М158(03)-88 31-88

ББК 84Р7

**Андрей Александрович
Матвеев**

**С АВГУСТА
ПО СЕНТЯБРЬ**

**Редактор С. И. Казанцев
Художник О. И. Журавлева
Художественный редактор М. М. Кошелева
Технический редактор И. Ш. Трушникова
Корректоры И. В. Лавренчук, Е. В. Иванова
ИБ № 1641**

**Сдано в набор 1.06.87. Подписано в печать 27.11.87.
НС 12776. Формат 70×108^{1/32}. Бумага книжно-журн.
Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая.
Усл. печ. л. 11,9. Усл. кр.-отт. 11,9.
Уч.-изд. л. 11,7. Тираж 15 000.
Заказ 323. Цена 90 к.**

**Средне-Уральское книжное издательство,
620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24.
Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.**

